

«Кантор ведет с жизнью философскую тяжбу.

Предмет тяжбы неизменен: почему человек созданный для духовного подвига, не находит себе применения?»

Лев АННИНСКИЙ

«Роман “Крокодил” заставляет вспомнить проблематику Достоевского».

Юрий БОЛДЫРЕВ

«Все произведение, пронизанное умной и тонкой литературной игрой, построено на десятках аллюзий и книжных реминисценций. Каждая дает необходимый ответ, а все вместе сверкают и переливаются разноцветными гранями, как в калейдоскопе. <...> Библейская притча о Левиафане, трансформированная Владимиром Кантором, выводит повествование на новый смысловой уровень, придает частному случаю оттенок некоей всеохватности».

Роман АРБИТМАН



Владимир КАНТОР

КРОКОДИЛ



**Первое отдельное издание
знаменитого романа**



В. Кантор

Владимир КАНТОР

КРОКОДИЛ

Роман

Памяти В.Ф. Кормера

МОСКВА
МОСКОВСКИЙ ФИЛОСОФСКИЙ ФОНД
2002

Кантор В.К.
Крокодил. Роман. — М.: Московский Философский Фонд,
2002. — 240 с.

Роман, написанный в 1986 г. и опубликованный впервые в 1990 г., был замечен читающей публикой в России и Западной Европе. Зло приходит к нам, а спокойный, обывательский мир хоть и видит его, но не может поверить, что безусловное зло и в самом деле возможно.

Первое отдельное издание романа выходит под при-
смотром автора.

Не оценив достаточно наших усилий, они кричали, очевидно удаляясь от предмета, что рассказ неизвестного не только противоречит естественным наукам, но даже и анатомии, что проглотить человека известных лет, может быть вершков семи росту и, главное, образованного — невозможно крокодилу, и т.д. и т.д. — всего не перечтешь, что они накричали... Тем не менее все очень скоро и окончательно уладилось... Оказалось ясным, что в рассказе неизвестного говорится отнюдь не о тех всем известных крокодилах, которые показываются теперь в Пассаже, а о каком-то другом, постороннем крокодиле... Сей же последний крокодил, конечно, мог быть и больше и вместительнее теперешних двух крокодилов, а следовательно, отчего же бы он не мог проглотить известных лет господина, и тем более образованного?

Ф.М. Достоевский

*По улице ходила
большая крокодила.
Она, она голодная была!
Слова уличные*

Глава I

ПОХМЕЛЬЕ

Лева уже давно привык к своей внешности человека с брюшком, для женщин не особенно привлекательного, но зато и не обольщался насчет своей удачливости у женщин. Широкое лицо, глубокие залысины на большом черепе, китайский разрез глаз, почти отсутствующий подбородок — он хорошо изучил свое лицо и не старался его украсить, вообще находя особое удовольствие в неряшливости внешнего вида — вязаных свитерах, рельефно обрисовывающих его толстые бока, частой небритости, самых маленьких и дешевых очках, которые обычно покупают небогатые родители младшеклассникам, да те еще бывают недовольны этими уродливыми круглыми маленькими стеклышками в пластмассовой оправе. Еще в молодости он пытался бороться с перхотью, обильно посыпавшей его голову, потом борьбу прекратил, махнул рукой, а перхоть взяла да и уменьшилась, почти совсем пропала, лишний раз подтвердив Лева, что его участь — жить спустя рукава и не обращая на себя внимания, не заботясь о себе.

Так и в работе. Пьянку с друзьями и даже случайными собутыльниками он предпочитал

карьере, так и прогуляв возможности. Человек он был талантливый, по молодости много начитавший в университете, обладавший хорошей памятью и, несмотря на пьянку, гибким умом, цену себе знал, знал, что и другие ему цену знают. Но когда из вышестоящего учреждения как-то позвонили в журнал и предложили ему прийти побеседовать о возможностях более перспективной работы за рубежом, он не пришел, а напился и позвонил туда совершенно пьяный, нес какую-то чушь о свободе выбора, о независимости личности, а потом просто бросил трубку. Но его ценили, фокус этот простили, и сотрудник вышестоящего учреждения сам приехал на следующий день беседовать с Левой. Но Лева, похмеляясь, напился, как ни удерживали его сотрудники-собутыльники, знавшие о приезде вышестоящего товарища. Леву хотели они даже спрятать, когда тот приехал, но Лева вырвался, подошел, широко и глупо улыбаясь, затем, нарочито грацируя, спросил: «Я вас вчега не о-очень э-эпатиговал? Помилуй Бог, это вышло случайно!» И перекрестился. На престижную работу его не взяли, зато друзья, наблюдавшие со стороны эту сцену, помирали со смеху, и эта история служила темой почти двухнедельных рассказов.

Лева знал, что своим пьяным поведением дает материал для насмешливо-добродушных историй о нем, иногда и сам над ними смеялся, то есть над собой, если не был в обидчивом настроении. Знал он и то, что спяну порой говорит о таких вещах, о которых человеку воспитанному и образованному говорить считается

неудобным, но ничего с собой не мог поделать. Похмельным утром, просыпаясь, он с ужасом пытался вспомнить, что наговорил вчера, как его неудержимо несло, как он хвастался, как кого-то бранил, как рассказывал о таких интимностях своей жизни, что наутро хотелось удивиться. Но не давился, не вешался, а давал себе слово отныне молчать, не трепаться, пусть треплются другие, при этом в глубине души знал, что слова не сдержит, и в самом деле не сдерживал. Лева знал, что его тем не менее любят и прощают ему многое. Когда говорили с ним друзья нормально, не подшучивая, они называли его Левой, когда же с подначкой — то Лео. «У китайцев Мао, а у нас Лео, двоюродный брат Мао». Шутка была дежурная и дурацкая, намекала на китайские Левины глаза и на его настоящее имя — Леопольд. Но полным именем он именовал себя только в официальных ситуациях. Он не стыдился своего иностранного имени, напротив, даже гордился, оно имело историю, а история — это то, считал Лева, что превращает животное в человека, да и вообще приобщает к мировому духу. И все же ему приятнее было называться Левой, как-то оно проще и понятнее для всех звучало.

Гораздо больше его смущала фамилия — Помадов. Вообще-то их коренная фамилия была Сидоровы. Но когда его отец, крупный партработник тридцатых годов, стал входить в силу, ездить на «эмке», жить в большой квартире, он сказал, что Сидоровых много, что звучит это банально, и выбрал, как ему показалось, неординарную фамилию — Помадов. Тогда с пере-

меной фамилии дело было просто: захотел, выбрал любую — и, пожалуйста, его прихоть удовлетворяли. Отцу казалось, что произносятся Федор Помадов (вместо грубо-рокошущего — Федор Сидоров) много благозвучнее. И пришлось Лева носить парфюмерную фамилию, вовсе не являясь любимцем дам. А друзья-острословы всячески изошрялись над его фамильным прозвищем, расшифровывая его, особенно в те моменты, когда Лева адски напивался, как «пом. адов», «помощник адов», а то и просто усекая фамилию: Лева Адов. А один из них, Кирхов, даже словечко-термин пустил: «помадовщина». И все-таки его любили, несмотря на его неряшливость, несобранность, даже распущенность, безалаберность и словесное похабство, а Лева казалось, что такая тесная дружба и всепрощение дотянется до самой смерти, даже в смерти как-то поможет, что только на Западе, невзирая на его либерализм и техническое совершенство, а может, и благодаря им, каждый умирает в одиночку. А у нас есть общинный дух: на миру и смерть красна — недаром так говорят.

Лева шел рядом с Сашей Палáдиным. Голова его раскалывалась. Сегодня было как раз то самое похмельное утро, когда вчерашний вечер вспоминался с содроганием и краской стыда. Друзья, всячески выражая ему сочувствие, повели в пивную, чтобы он «полечился», пока не прибыло начальство. У Саши Паладина оказалась с собой пайковая вобла из распределителя, по поводу которой сардонический Федор Кирхов заметил, что вобла традиционное меню

начальственных пайков: в двадцатые потому, что она заменяла дефицит, а в семьдесят девятом потому, что сама стала дефицитом, в магазине ее не купишь, как, впрочем, и тогда нельзя было купить. Кирхов сказал, что в пивную подойдет позже, и они двинулись вшестером. Впереди маленький бледный Скоков с длинноволосым, чернобородым Шукуровым, человеком с Волги, считавшим себя славянофилом. За ним широкоплечий, толстый и тоже бородатый Илья Тимашев, обнимавший за плечи их машинистку, черноволосую Олю, увязавшуюся за мужиками в пивную. Тимашева Лева недолюбливал, он казался ему слишком удачливым, даже кандидатскую сумел, сукин сын, защитить до тридцати лет. Сейчас ему тридцать семь, статьи по истории культуры модные пишет, договор на книжку заключил — короче, слишком сам по себе, но, как правильно ему сказал Вася Скоков: «Ты, Тимашев, вроде бы и с нами сидишь, водку заглатываешь, но пьешь ты не с нами. Ты как чужой». С этим Лева был согласен, Тимашев и ему казался чужим. То ли дело Саша Паладин, хоть и сын начальника, и у него тоже своя жизнь, родитель с машиной, шофером и дачей, распределитель, а свой парень. Даже Кирхов и тот, хоть, конечно, настоящий *Воланд*, что-то в стол пишет, совсем другой круг друзей: сомнительные литераторы и художники, а пьет со всеми, всегда можно к нему завалиться и выпить или к себе притащить. А Тимашев, тот только на работе пьет, а потом ни-ни, сразу сваливает домой. А ему, Лева, уже под пятьдесят, сорок восемь, он не стремится к карьере,

хотя давно мог бы стать доктором, не то что кандидатом, он второй раз ушел от своей второй жены Инги, с которой прожил двадцать шесть лет (его первая жена, Ленка, не в счет, с ней он месяцев пять прожил, и расстались они к обоюдному удовольствию). Да, с Ингой все было сложно, непросто. Он ушел от нее уже почти как полтора года, не думая о другой бабе (или держа это в тайниках сознания), но через два месяца появилась Верка, молодая машинистка из соседнего института, уходившая в тот момент от мужа; и в результате скоропалительно романа он отправился ее провожать на поезд в Гурзуф, да на этом же поезде с ней и уехал. Там они прятались по всему Гурзуфу от Веркиного мужа, а теперь Лева готовился на ней жениться, потому что она забеременела. Ему давно хотелось сына (у Инги детей не было, да, видимо, и не могло быть), но пока он снимал комнату на Войковской и жил отдельно от всех, потому что никак не мог научиться ладить с Региной, дочкой Верки от первого брака, да и Веркина мать, которая там часто бывала, его раздражала, потому что все время пыталась выражать свое недовольство их союзом.

Скоков с длинноволосым, громкоголосым Шукуровым уже свернули с Кропоткинской в Еропкинский переулок, за ними потянулись Тимашев с Олей. Лева поморщился, он помнил, как на одной из редакционных пьянок Тимашев держал Олю за грудь, а она млела и перебирала его волосы. Лева хотел пристроиться и взяться было за другую грудь, но получил по физиономии. Он видел, что Оле очень нравился Ти-

машев, но знал, что он не только не женится на ней, но и в долгие любовницы не возьмет, слишком жены боится, а девчонка, дура, надеется. И раздосадованный своей неудачей и удачей Тимашева, он улучил момент и сказал ей тогда с прямоотой, которая была ему свойственна и которую тот же Тимашев называл бесцеремонной, сказал, чтоб знала, что ей не на что рассчитывать: «У тебя всегда будут неудачи в личной жизни. У тебя такой характер, что счастливой тебе не быть. Ты ужасно невезучая, это на тебе написано». Она расплакалась, а Саша Паладин, слышавший его рацею, сказал: «Ты что, Лео? Того? С ума сошел?» И принялся утешать плачущую дурочку. Он вообще был добрый. А Лева вслед им произнес, выпятив грудь: «Я сказал честно, то, что есть». Оля смотрела на него теперь искоса, а к Тимашеву была по-прежнему привязана.

Себе Лева казался человеком гораздо более прямым, честным и мужественным, чем Тимашев: захотел — и ушел от жены, захотел — и напился вчера в какой-то компании, наплевав, что его Верка ждала, а потом еще и переспал с матерью зазвавшего его к себе в дом мужика. Потому что он не трепло и не позер, а свободный человек и не боится общаться с простым народом. Голова у Левы трещала после вчерашнего: пили и водку, и портвейн, и ром, а от такой мешанины, естественно, в глазах и в душе была муть: непонятно, как выкатился он из дому этого незнакомого мужика, который требовал от него остаться после всего, что было и что Лева проделывал с его матерью почти у

всех на глазах, что с него за это еще бутылка, но Лева все же выскочил из подъезда и добрался-таки на попутке до Войковской. Нет, и в самом деле, думал он, ему вчера в дороге пришла в голову хорошая мысль, что *жизнь есть калейдоскоп*. Мелькают разные лица, меняются ситуации, возникают новые узоры... Это заслуживало *философского* анализа, но думать, сопоставлять и размышлять не было, однако, никаких сил. Он и ноги-то еле передвигал, прямо потом от слабости обливался, казалось, что не дойдет до нужного места, да и не дошел бы, если бы не приятели, которые невольно влекли его за собой. День обещался быть жарким, но дождливым. С утра парило и на горизонте вдалеке висела туча. Лева не поспевал идти быстро, и Саша Паладин приотстал с ним вместе. Еще утром, когда Дева весь растерзанный появился в редакции, дважды поздоровался с ответственным секретарем, на что получил от того двусмысленную ухмылку, потом спросил у кого-то бутылку пива, Саша сказал, что надо помочь товарищу, и вот они и отправились в пивную на Метростроевской, а Саша продолжал опекать его.

— Где это ты вчера так? — спросил Паладин, отчасти участливо, но и с немалым ехидством. — Все свои matrimониальные дела решаешь?.. Да расскажи, не стесняйся, вижу ведь, что хочешь.

Так уж было заведено в их компании, что о своих приключениях все рассказывали, немного, конечно, прихвастывая, но в сторону увеличения своей греховности, отнюдь не преумень-

шения. Словно это были повествования о рыцарских приключениях, только Круглый стол короля Артура заменяла пивная стойка. Особенно как рассказчик отличался Лева, не скрывавший ничего и ничего не приукрашивавший. А Саша Паладин потом умел так воспроизвести любой рассказ приятеля, что он надолго оставался в памяти всех остальных, иначе забывших бы о нем. Именно с его слов все повторяли фразу Скокова, брошенную по пьянке пьяному же Шукурову: «Ты не гусар, ты улан! Понял? Ты недостойн быть гусаром. Ты улан, а не гусар!» Что он вкладывал в понятия «гусара» и «улана», на следующее утро не мог и сам Скоков объяснить, но фраза в пересказе Саши осталась, и стоило Скокову спьяну завестись, ему тут же говорили: «Да успокойся, мы понимаем, что он (любой противник Скокова в тот момент) улан, а не гусар. Чего с ним связываться!»

— Ты где ночевал-то? У Верки или на Войковской? — продолжал проницательный Саша. — Верка небось теперь переживает не хуже Инги. И чего это, скажи ты мне, друг мой Лео, таким балбесам, как ты, достаются такие хорошие бабы?

Лева невольно самодовольно улыбнулся. Ингу ребята уважали, куртуазно с ней раскланивались при встречах, она была маленькая, худенькая, на ножках-спичках, интеллектуалка, постоянно боровшаяся за справедливость, человек, как и Лева, выпечки конца пятидесятых, верившая в Левину глубокую порядочность, в ум, в знания, в то, что он непременно не просто живет, а во имя благородной цели, очень стра-

давшая от его пьянства, думавшая даже образумить его тем, что двадцать лет назад прогнала его от себя, тогда-то Лева первый раз ушел от нее, потом вернулся. А когда ушел второй раз, она смотрела на него жалобными глазами, пучок волос казался ободренным собачьим хвостиком, она ужасно боялась в старости остаться одна, а детей у них не было. И чтобы успокоить свою совесть. Лева, уже давно не любивший Ингу, но прикипевший к ней за двадцать-то шесть лет почти совместной жизни, чтобы легче провести эту ампутацию части самого себя, принялся пить, а в процессе пьянки и познакомился с Веркой. Конечно, Инга была кандидат, дочь академика, почти не общавшаяся с отцом из-за его «консервативных взглядов», ее волновала судьба русской культуры, к ней приходили известные опальные и полуопальные мыслители и поэты, споры и разговоры могли идти ночь напролет, но Верка была на двадцать лет моложе, и, как Лева показалось, он в нее влюбился. Тем более что от Инги-то он уходил не к другой женщине, а потому, что все перегорело. А единства взглядов для совместной жизни Лева было мало, да и вообще хотелось пожить абсолютно свободным искателем приключений. К Верке друзья относились проще, хлопывали по плечу, при встречах не упускали потискать. Кирхов, длинный сардонический красавец, на одной из пьянок, когда Лева отрубился, даже попытался затащить Верку в постель, приводя ей один только довод, когда она вырывалась из его клешней: «Ты что, дура? Не хочешь? Ты что, дура?» Попытка его оказалась безуспеш-

ной, но все равно она показывала большую раскованность приятелей в отношении к Верке. Да и была она, конечно, соблазнительней, моложе. Да, тут все было другое. Инга знала ему цену, потому что помнила его еще молодым, робким, непьющим, жадно глотающим книги, несмотря на ранний брак и быстрый развод, несмелым с женщинами, а Верка уже получила пятидесятилетнего мужика с брюшком, с залысинами, в очках, циничного, почти всегда пьяного, хотя и любимого друзьями и в журналистском кругу считавшегося талантливым. Верке льстило, что ее муж (так она его называла, без загса) пишет статьи за академиков, за начальников и других разнообразных деятелей и что его перо считается самым умным и бойким. А Инга считала это падением, ее мучило, что все почти их сверстники, гораздо менее способные, чем Лева, давно уже доктора или хотя бы кандидаты. В этих своих мучениях она даже доходила до абсурда. Как-то на похоронах двух докторов наук, попавших в автокатастрофу, глядя на своих однокурсников, уже важных и солидных, Инга принялась трясти Леву за плечо и шептать зло: «Ты посмотри, все уже доктора, а ты даже не кандидат». Лева был уже изрядно пьян, почти лежал лицом в салате и, размякший, хотел было пробормотать нечто жалобное, но находившийся тут же Кирхов хехекнул и сказал: «Х-хе! Доктора в гробу, а твой за столом, хоть, конечно, спорить не буду, он большой болван». Лева подхватил его слова, поднял голову из остатков пиццы и заорал: «Дура! Зато я живой! Тебе лучше мертвый доктор, чем живой муж?!» Но во-

обще-то он ее понимал, слишком много вдвоем было переговорено, слишком много вместе прочитано, слишком много было общих кумиров и старых друзей. С Веркой все было иное: он давал читать ей любимые книги, которых она не читала раньше, из друзей те, что были второстепенными, недавними, выходили на первый план, старых он оставлял Инге.

— Ты что это, Лео, сегодня такой задумчивый? — не отставал Саша Паладин. — Или есть что вспоминать? Поделись с товарищами.

Они уже вышли к Метростроевской. Спутники их быстро перебежали дорогу, а Лева с Сашей задержались, пропуская машины. Лева и хотел бы рассказать про вчерашнее, как ни мучило его похмельное раскаяние и отвращение к себе за сделанное и наговоренное спьяну, но язык не ворочался в сухом рту. Он понимал, что эти рассказы вокруг пивной стойки заменяли исповедь, облегчали душу, а иногда в таком разговоре можно было получить и дельный совет. В совете он нуждался, ибо ночью, около дома на Войковской, ему такое померещилось, что жуть.

Началось все с пустяка, с бутылки на четверых. А точнее — чуть раньше: с выволочки, učinенной ему главным редактором. С утра они с Сашей выпили пива, затем приехал худенький, усатенький Сан Морковкин на своих «Жигулях», в багажнике у него нашлось полдюжины пива, и Лева с Сашей, сидя в машине, их тоже выпили. У Морковкина шла статья, и он всячески обхаживал Сашу, своего редактора. Но вчера у него не было денег, поэтому приехал он только с пивом. А потом Леву вызвал Главный. Он сидел за

столом, сбоку сидел и. о. зам. Главного — Чухлов Клим Данилович, а с другого боку пришлось сесть Лева.

— Садитесь, послушайте, чтоб тоже знали, — как всегда, отрывисто и косноязычно говорил Главный (Лева сел, стараясь дышать в сторону). — Просьба такая: сказать, — продолжал Главный, — чтобы по всем этим вопросам писать свои предложения, имея в виду, чтобы они были выполнимы. Надо выявить отношенческие и аналитико-размысленческие аспекты. Не только чисто отрицательное как бы положение, это я знаю, это тоже можно, отрицательное, но надо переломить ситуацию на позитивные рельсы. А факты сами по себе ничего не дают, набор фактов — это ничего, могут быть факты положительные и отрицательные. У нас есть недостатки, но надо, чтоб все знали, что мы в журнале стараемся планировать их улучшение. И в соответствующих инстанциях это известно, чтоб вы знали. То есть о чем я призываю? Собраться и честно поговорить. Ясно, будем говорить о работе в журнале, это ясно. Если лучше устраивает утром, проведем утром. Можно Ленина посмотреть. Я сам, не из книг, такие цитаты у Ленина нашел, что прямо к нам о работе. Пришлось тексты почитать, а то, знаете, кочуют одни и те же, из книжки в книжку, а я взял и прочел. У него удивительно много умных мыслей было. Конечно, так впрямую, как он, сейчас писать нельзя, слишком смело, но мимоходом, вскользь, можно кое-что. Вот, скажем, вы, Леопольд Федорович, это же ваш отдел — предложите тему, актуальную, в связи с теорией разви-

того социализма, плюс острую. Не очень, но чтоб было понятно, что учение о развитом социализме имеет все черты настоящей теории. А вы зачем, кстати, так много у Гамнюкова в статье вычеркнули? Он пожаловался уже, мне Федтр Николаич звонил и говорил, что так недопустимо.

— Но вы мне сами сказали сократить на десять страниц. — подскочил возмущенный Лева, забывая дышать в сторону.

— А вы не пререкайтесь, — покраснев, крикнул Главный, — не пререкайтесь! Умейте слушать! Я не такое терплю, когда мне выговаривают. Я вам сказал последнюю оценку, а вы слушайте. Я прочитал сейчас, как вы сократили. Всю ночь сравнивал, а у меня другие дела есть, чтоб вы знали. Я один раз даже за голову схватился! Вы там целую мысль в одном абзаце вычеркнули. Надо с умом делать, а не кое-как. Я это вам прямо говорю, один на один, пока мы тут втроем сидим. Вы в работе должны показывать весь ум своего мышления. В работе тоже нужна культура этики. Вот вы бы придумали актуальную проблему. Это будет все же полезней, чем пустое место. А ваш недочет в работе над статьей мы, ясно, зафиксируем в плане выговора. Вы, Клим Данилович, подготовьте проект выговора по Помадову, а я потом проправлю и подпишу. Что вы удивлены? Мы на этот вопрос по поводу вас с Климом Даниловичем уже обменивались. А потом, от вас пахнет, это тоже в проект вставьте.

— Да это же пиво, — запричитал Лева. Усатый и громоздкий Клим Данилович развел руками:

— Нехорошо это как-то получается, Леопольд Федорович, — и вышел из кабинета. Лева с ненавистью посмотрел ему вслед. Когда-то Чухлов, весьма посредственный автор, принес целые портфели водки и коньяку, чтоб его только печатали, и ребята считали его своим, выпив с ним не один литр. Когда освободилось место редактора. Лева рекомендовал Чухлова на это место как «своего». Его взяли, и он очень пришелся по душе Главному. Тут ушел прежний зам, милейший человек, всегда под градусом. Когда он напивался, то спрашивал собутыльника: «Ты интеллигент в первом или во втором поколении?» Если собеседник отвечал, что во втором, то зам становился на колени и норовил поцеловать у интеллигента во втором поколении руку. «Ты — наша надежда, надежда России», — бормотал он при этом. Он ушел, а на его место поставили Чухлова, который смотрел в рот Главному и ввел систему сержантских понуканий: «Помадов! Тебя Главный вызывает! Бегом! бегом!» Лева обижался, удивлялся, как незначительный сдвиг ситуации резко переменял отношения, раздражался, временами ненавидел Чухлова, но все его распоряжения выполнял, потому что давал их не просто Чухлов, а и. о. зам. Главного редактора, то есть лицо, облеченное ответственностью. И когда, скажем, Чухлов хвалил его. Лева чувствовал, что испытывает от его похвалы удовольствие, потому что это похвала какого-никакого, а все же *начальника*.

— Я вам буквально все сказал, — бросил Главный. — Главное, плохо работаете. Это надо учесть.

Лева принадлежал к тому типу людей (и тайне знал это), что внутренне очень зависят от других, тем более от начальства. Лева не лез в чины, считая себя человеком духа, но как-то так случилось, что большую часть своего времени он тратил на правку, переписывание, а то и просто писание статей вышестоящих товарищей. Как и многие русские люди этого типа, Лева испытывал по отношению к начальству двойное чувство: когда его хвалили, бывал счастлив, хотя и не показывал приятелям виду и иронизировал над похвалами; зато, когда его ругали, Лева впадал в безудержный анархизм, переживая начальственное неодобрение как личную трагедию, обижаясь, как ребенок (который каждый данный момент воспринимает как скрещение всех смыслов мироздания, как центральный в его жизни). И Лева, несмотря на свое философское образование, относительно жизни жизненных ситуаций понять не мог. Поэтому, возмущаясь несправедливостью (ибо статью Гамнюкова он и в самом деле сокращал по распоряжению Главного, сделал это филигранно, лучше сделать было нельзя, но тот, паскуда, нажаловался, а теперь Главный отпирается и все на него валит), Лева хотел показать нужность свою делу и поражение обратить в победу:

— Что касается Гамнюкова, Сергей Семенович, то я выполнял ваши указания, — и, не дожидаясь возражений, скороговоркой, — что же касается актуальной проблемы, то, — далее Лева вызывал огонь на себя, но так вызывал, чтобы целым остаться, — можно поднять нрав-

ственно-этическую проблему — проблему алкоголизма и борьбы с ним.

— По Гамнюкову вы говорите неправильно, у меня в блокноте все записано, я вам указаний таких не давал, я и так отвечаю, где надо, не беспокойтесь. А за то, что тему актуальную придумали, — молодцы. За плохое — ругаем, за хорошее всегда хвалим. Да, это острая тема. Это очень серьезно. Но надо подходить осторожно. Я посоветуюсь с Фетром Николаичем на этот предмет и потом вам скажу наше мнение. Короче, передам вам его дословные слова, чтоб вы знали. А пока скажу вам вывод, который уже говорил: плохо работаете, надо лучше. Идите и работайте, чтоб больше выговоров не было. А пока я вам прямо скажу. Я просто быстро думаю, что тема актуальная, но надо осторожно. Я записал к себе и окрутил, чтобы не забыть. И пока статей не заказывайте. Я вам потом скажу свое мнение, после Фетра Николаича. Но нужно давать преимущества только положительные. Это нужно.

Лева вышел из кабинета, чувствуя себя обиженным, как может быть ребенок обижен отцом, долго жаловался друзьям, говорил, что Главный губит журнал, пересказывал его словечки, а потом, совсем расстроенный, поехал вечером к приятелю-переплетчику, где с тоски и напился. Он попал к нему в мастерскую как раз к концу рабочего дня: верстаки, столы с кипами бумаг, ножи для обрезки бумаг, вделанные в стол, куски жести, большие ножницы, банки с клеем, шкафы с картонками, точильный станок, присобаченный к столу... Гешка, приятель, сказал, что

есть бутылка водки. Они выпили. Потом ставил Лева, потом скинулись, взяли еще водки и портвейна. На закуску пошли плавленые сырки, батон белого хлеба, жареная килька, которой так аппетитно закусывать. Толстый огромный Толя, казавшийся страшным из-за своей расплывшейся от жира физиономии и чудовищных рук, наливал по полному стакану (стакан был один) и требовал «соблюдать норму». Так и пили по полному стакану, хотя Лева под конец стал жульничать, не допивать, а Гешка его защищал, говоря, что не надо насилия, что у каждого своя норма. Но Леву все равно повело, занесло, он начал выступать, хвалиться и одновременно жаловаться на своих близких. А потом они поехали к Толе, который, несмотря на свою громадность, жил без жены. В маленькой двухкомнатной квартирке была еще его мать, сравнительно молодая, по Левиным понятиям, баба, едва старше пятидесяти, которая выставила бутылку имбирной, а потом Толя достал еще бутылку кубинского рома. Выпили, и тут Толина мать потащила Леву в соседнюю смежную комнату, где стояли кресло, шкаф и тахта, на которую она вместе слевой и повалилась. Дверь оставалась открытой, но Лева все равно принялся ее лапать и раздевать под добродушный Толин смех и регот мужиков из соседней комнаты. Гешка потом едва выволок его на улицу и отправил домой на попутной машине. Но все это был длинный рассказ, требовавший представления в лицах, а у Левы хватало сил, только чтобы вспоминать и терзаться.

— Эй, Пом. Адов, что с тобой? — тряхнул его Саша Паладин.

Лева вздохнул.

— У Гешки вчера был. Пили с простым рабочим парнем, — говорил он, склоняясь к Саше интимно-доверительно, расслабляясь и сознавая, что говорит с похмельной подловатой и пошловатой откровенностью, но так оно было и легче и проще. — Потом поехали к нему. Представляешь? У него замечательная мать. Мать простого рабочего парня. Всем дает.

Саша хрюкнул.

— Неужели всем?

— Всем, — подтвердил Лева.

— И тебе дала? — не отставал Саша Паладин.

— А что? — Лева отодвинул голову и как бы со стороны посмотрел на Сашу, насколько хватало сил подыгрывая. — По-твоему, Помадов хуже всяких иных прочих, вроде Тимашева?

— Ну что ты! — воскликнул Саша и, подхватив его за локоть, быстро перевел через дорогу.

— Эй! — крикнул вдруг Шукуров, приотставший от остальных, уже подходивших к пивной. — По сколько кружек вам брать?

— Думаю, — сказал Саша, взглядом лекаря посмотрев на Леву, — минимум по три.

— Понял! — и Шукуров бросился догонять остальных.

А Лева сквозь сумрак в глазах и головную боль снова представил со стороны свои редкие, жирные, распадающиеся волосы, висящие до плеч, широкое рябоватое лицо, почти лишенное подбородка, вспомнил, как услышал реплику

жены Тимашева (они говорили о нем, о Левае), что «пень красивее его» и что она не понимает баб, которые с ним спят, почувствовал свое грязное, давно не бывшее в бане тело и подумал, как будут над ним насмешничать приятели. Но тут же как всегда махнул на себя рукой, предоставив все Сашиному остроумию.

С похмелья в голове по-прежнему проворачивались воспоминания вчерашнего дня. Дорога не мешала, потому что он вполне полагался на Сашу. Лева снова с недоумением и холодком в груди вспомнил свое вчерашнее видение перед входом в двухэтажный штукатуреный дом на три подъезда. Дом был барачно-коммунального типа, выкрашен оранжевой масляной краской, в темноте при свете двух одиноких уличных фонарей казался черным. Черными же казались шелестевшие от ветра деревья и кусты в палисадничке перед домом. В этом-то доме Лева и снимал в коммунальной квартире комнату за семьдесят рублей. Преимущество было в том, что сдавшая комнату хозяйка жила не здесь, и Лева был сам себе господин. Именно в этом доме, почти тридцать лет назад, он тоже снимал комнату в течение нескольких месяцев своего первого брака с Ленкой, здесь ему тогда было хорошо. Томимый ностальгией, запутавшийся в отношениях с Ингой (которой он продолжал регулярно звонить и изливать свои горести, как самому близкому человеку), Веркой и ее дочкой Региной, Лева и бросился в этот дом отсидеться в одиночестве, хотя и помнил слова Гераклита, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку.

Вроде бы поначалу и ничего, неплохо. Соседи его не донимали. В трехкомнатной этой квартире одна комната стояла вечно запертая и пустая: там была прописана некто Ванда Габриэловна Картезијева, пожилая матрона, иногда наезжавшая с пятилетним внуком Осей, чтобы проверить, все ли в порядке, все ли сохранно, жила пару дней и уезжала. В комнате напротив входной двери жила молодая бездетная пара, все вечера глухо бранившаяся в своей комнате. Ссоры эти, как правило, кончались тем, что Марья, так звали молодую супругу, вытаскивала матрас и свою постель в ванную комнату и устраивалась там на ночь. Но поскольку санузел был раздельный, а на кухне тоже была вода, Лева это не мешало. Так что жильем своим Лева был доволен. Хозяйка оставила в комнате кроме тахты, стола, стульев и прибалтийской гравюры, изображающей юную красотку с распущенными волосами, даже небольшой стеллаж с книгами. Книги, правда, были все больше по биологии: Мир животных, Мир растений — все это для Лева скучные многотомные собрания, трехтомник Брема для юношества, несколько детских книг и два собрания сочинений: пятитомник Карела Чапека и десяти томник А.Н. Толстого. Лева притащил сюда и несколько своих книг, вроде бы нужных ему для работы. Он собирался на основе своих статей составить книгу на актуальную тему, надеясь заработать на кооператив для себя и Верки. Тем более, что Верка ждала ребенка. Книга должна была называться «Социалистический образ жизни», и в ней он хотел провести прогрессивную, как ему

казалось, идею, что образ жизни при социализме и социалистический образ жизни — разные понятия, и путать их нельзя, не искажая теоретического смысла. Но ему не работалось. Ничего толкового в голову не приходило, кроме вчерашнего пьяного сравнения жизни с калейдоскопом. Вчера, едучи к дому в машине, он, совершенно пьяный, решил, однако, что разовьет эту мысль о калейдоскопе — для себя, конечно, не для книги. Но встреча у входа в дом сбила его.

Вчера его напугало *нечто*. А Лева больше всего боялся (будучи человеком трусоватым, чего от себя не скрывал.) явлений несоразмерных, необъяснимых, так сказать, ирреальных и иррациональных, вроде маньяков, случайных убийц, генетических преступников, «виктимных» женщин, которые навлекали несчастья на себя и на окружающих. Была у него однажды знакомая, такая вот виктимная, которая говорила: надо бояться людей с белыми глазами, поскольку они сами про себя могут не знать, что они потенциальные убийцы, но придет случай, и они неожиданно для себя совершат преступление. С ней, по ее рассказам, такие истории бывали: как-то один начальник отдела, приехавший к ней на именины с подарком, когда она вышла на кухню, принялся набивать ее лучшими книгами свой портфель, а поняв, что его клептомания обнаружена, попытался ее убить (причем «глаза стали как пуговицы»), бормоча: «Наконец, я до тебя добрался. Я сейчас буду тебя резать на мелкие кусочки». Ее спасли случайно зашедшие соседи. И много такого она

ему рассказывала, после чего Лева побоялся с ней общаться, потому что, по ее словам, она навлекала неприятности и на своих спутников. Да и память об одном случае, виденном им в детстве, когда выплеснулось из людей наружу нечто неуправляемое, иррациональное, страшное, тоже сидела в нем.

Он отдыхал с отцом на теплом взморье. Они лежали на песке и наблюдали, как студенты или спортсмены — короче, группа ребят с руководителем — на каменистом склоне с криками «ура» подбрасывали вверх и ловили на руки одного из своих товарищей, видимо, в чем-то отличившегося. Он расслабленно и довольно взлетал в воздух и падал на руки товарищей, а четырехлетний Лева, лежа на песке, наблюдал эту сцену. Ликующие крики, желтый теплый песок, за спиной мелкое сине-серое море, и так приятно лежать, зарывшись в песок и пересыпая его с ладони на ладонь, при этом наблюдая жизнь «больших ребят». И вдруг при следующем, пожалуй, самом сильном броске вверх все (словно по команде, хотя ее явно не было, в этом Лева мог поклясться) отскочили в стороны, и парень тяжело спиной грохнулся о землю, грохнулся и остался лежать. Потом отец говорил, что мальчик сломал позвоночник и, если выживет, все равно останется калекой. Ребята не были его врагами, тем более не собирались убивать его, но что-то вот сдвинулось у них в сознании. «Интересно, в каком кругу ада им мучиться, — сказал Кирхов, когда Лева как-то рассказал ему эту историю, и добавил: — Понятно, что человек придумал ад, непонятно, как возникла идея

рая». Даже сардонического Кирхова эта история привела в мрачное расположение духа. Вот таких сдвигов Лева и боялся больше всего. Они могли быть самого разного свойства — не только в сознании, но и в природе, в жизни, вообще во внешнем мире.

И вчера какой-то сдвиг произошел, только какой — Лева не смог понять. Хорошо, если в его сознании, а не сдвиг каких-нибудь там земных пластов или пластов жизни, если такие существуют. Лева вылез из машины, ввалился в подъезд, где было совсем темно, в доме стояла сплошная тишина, даже братья Лохнесские уже не гоняли свой магнитофон. Лева зажег спичку, чтоб не запнуться о три маленьких ступеньки, ведших к входной двери (он жил на первом этаже). И вдруг кто-то, стоявший под лестницей, — такая высокая фигура, ее очертания успел уловить Лева, отличив от других предметов, наваленных и наставленных там же, — наклонился к нему и, дыхнув горячим дыханием, обжигающим руку, загасил спичку. После чего этот кто-то, эта огромная масса с горячим, смрадным дыханием, пахшая почему-то тиной, болотом, рыбой, какой-то слизью, загородила Лева путь и притиснула к стене подъезда, так что спиной Лева вжался в неровности стенной штукатурки, а руки и лицо уперлись в нечто холодное, мокрое и скользкое. Не трезвея, но мертвея со страха. Лева начал оседать, пока не скользянул на пол. И вроде бы пасть, жаркая, смрадная, полная зубов, приблизилась к нему, а потом зацелкнулась прямо перед его лицом, со звуком, напомнившим коровье мычание:

— Му-у...

И лязгнула окончанием:

— Так!

Дальнейшего Лева уже не помнил: как встал, как возился с ключами, как открыл дверь, как добрался до своей комнаты, куда девалось чудовище, — все стерлось, исчезло из сознания. Воспоминания были дискретны, и Лева сейчас, с похмельной головы, не мог понять, было ли это привидевшееся «нечто» в реальности или в пьяном бреде.

* * *

Они свернули около продуктового магазина, где иногда брали на закуску копченую скумбрию, и еще через пятнадцать метров уперлись в деревянный павильончик. Ребята уже были внутри и стояли в очереди.

— Берите Олю и идите занимайте места! — крикнул маленький Скоков. — Мы пиво принесем.

Трезвый Скоков был всегда обходительный, услужливый, но спьяну становился невыносим, выбрав себе жертву и обрушивая на нее поток желчи, где-то копившейся внутри, а утром снова каялся и переживал, причем искренне.

— И воблой займитесь, — добавил Шукуров.

С улицы было незаметно, что павильончик разбит на две части: крытую, где мужик в белом грязном халате разливал пиво, и открытую, где за длинными столами и набитыми перпендикулярно к забору, окружавшему это пространство, досками, которые тоже служили стойками, толпились мужики и пили пиво. Туча наползала, но

еще не наполнила, солнце светило, было жарко. Им удалось занять место у забора, протиснувшись между компанией военных — старлеев и капитанов — и плейбоев, очевидно студентов, в американских джинсах и импортных куртках, высоких спортивных красавцев. Саша принялся на газете чистить принесенную воблу, а Лева тоскливыми глазами искал, когда же среди алкашей и командировочных в темных костюмах проявятся знакомые лица.

— У тебя такой трагически-сосредоточенный вид, — заметил, усмехаясь, Саша. — как будто кружка пива — венец твоих желаний. Как у того мужика с золотой рыбкой.

— Какого еще мужика? — неохотно спросил Лева, голова была тяжелая, темная, больная, напрягать ее не было сил.

— Из анекдота, — напомнил, продолжая усмехаться, Саша. — Мужик один с такого же похмелья, как у тебя, пошел к пруду — воды хотя бы напиться — и случайно за хвост ухватил золотую рыбку. Та, натурально: отпусти, мол, а за это исполню три любых твоих желания. «Хочу, — говорит мужик, — стоять за стойкой, а в руках чтоб кружка пива и еще пара передо мной». Глядь — и впрямь стоит он за стойкой, перед ним пара пива и в левой руке тоже полная кружка. А в правой — рыбка. Рыбка ему и говорит: «Ну, а второе твое желание?..» Мужик хрипит: «А второго мне и не надо» — и хлоп рыбку головой об стойку и принялся, как воблину, ее постукивать и обчищать. Вот так, — Саша постучал воблой по доске и, очищенную, аккуратно положил на газету.

Лева с трудом шевельнул пересохшими губами, изображая улыбку. Но тут он увидел Скокова и быстро пошел к нему навстречу, взял из рук, чтоб помочь, пару кружек и еще по дороге к стойке начал жадно пить. Утолил жажду, и в голове вроде бы немного посветлело. Боль отпустила.

Глава II

ПОВЕСТЬ О ГОРЕ-ЗЛОЧАСТИИ

Подошли Шукуров и Тимашев, каждый нес по шесть кружек. За оставшимися сходили Скоков и Саша Паладин. Наконец, устроившись и угомонившись, принялись за пиво. Первые несколько минут, как водится, пили молча, насыщаясь. Потом, выпив по кружке, отвалились, как насосавшиеся крови клопы, достали сигареты, закурили, и затеяли разговор.

— Хоро-шо! — похлопал себя по животу Скоков.

— Честно сказать, я после вчерашнего только сейчас в себя пришел, — помотал своей черной бородой Шукуров, одетый в красивую шерстяную кофту, вязанную очередной женой. Несмотря на прокламируемое им славянофильство, требовавшее крепости брачных уз, он оставался восточным человеком и женился уже в пятый раз — по специальному разрешению.

— А ты что, вчера тоже?.. — спросил Тимашев.

— Да мы с Сашкой вчера напузырились, — пояснил Шукуров. — К нему автор приходил, «Посольскую» водку принес.

— Ото! — завистливо воскликнул Скоков.

— Похоже, хорошо вам, сволочам, было, — глуповато заулыбался Лева.

— Да и тебе, похоже, тоже неплохо, — отозвался Саша Паладин.

Темноволосая Оля молча отхлебывала из своей кружки пиво, поглядывая исподлобья на них, и каждый раз расцветала навстречу взглядам Тимашева, который морщился и старался на нее не смотреть. Судя по всему, думал Лева, она ему уже надоела. Тимашев был одет в джинсы и широкую куртку с большими карманами, в которой вечно таскал книги, даже когда они ходили в пивную. Он считался интеллектуалом, и сам себя таковым считал, и это раздражало Леву, потому что раз ты бабник, то и будь бабником, нечего изображать из себя интеллектуала. А раз женат (а Тимашев был женат) и имеешь ребенка, то не влюбляй в себя глупеньких девочек, трахайся с опытными бабами. Вот Кирхов — другое дело, он ведет разнузданный образ жизни и не скрывает этого, не то что Тимашев, который хочет все успеть: и науку делать, и по бабам шлаться, и выпивать, и семьянином быть. «И рыбку съесть, и в лодку сесть», — подумал Лева смягченной до эфемеризма половицей. Хотя и у Кирхова, несмотря на всю его доброжелательность и обаяние, была черта, которая не нравилась Леве, — склонность к макабрическим шуткам. Как-то, с полгода назад, придя с ним к Верке и тоже поднапившись, Кирхов вдруг заметил за столом, когда Верка на минутку вышла из комнаты, что у еды, которой Верка кормит Леву, странный привкус, — наверно, Верка потихоньку травит его за

то, что Левка пьет. «Странно, — сказал тогда Кирхов, — и года вместе не прожили, а уже решила отравить. Чем ты, Помадов, ей так досадил?» Лева и всегда-то был мнительный, а тут спьяну взревел и бросился вон из дому, решив умереть на помойке, раз его травит любимая женщина и никому он не нужен. На помойке его и нашли. Таща его домой, Кирхов сказал Верке (это по ее рассказам) не без издевки: «Ну что ж, замечательный мужик! Его помыть, почистить, с ним еще жить можно. А вообще-то — типичная *помадовщина*». Вспомнив это и как на следующий день Верка с трудом сумела убедить его, что Кирхов шутил, да и сам остававшийся ночевать Кирхов сказал: «Ты чего, старик, совсем?» — Лева вдруг подумал, что, рассказав о вчерашнем существе, он даст всем лишнее доказательство своей повышенной мнительности. Поэтому, взгрустнув, он решил послушать, что говорят другие.

— Культура, — разглагольствовал Тимашев, — пусть даже материальная культура, осуществляет связь времен, она носитель и хранитель духовных ценностей, она заставляет меня понять, что я неразрывное звено в цепи ее существования и изменения. Но изменения внешнего, потому что внутренне мы такие же. Вот старые дома девятнадцатого века, с которыми мы сталкиваемся глазами, когда идем в пивную, они ведь как-то действуют на нас, заставляют вспоминать, что Кропоткинская — это Пречистенка, а Метростроевская — Остоженка!.. И Пушкина тут же невольно вспоминаешь: «Когда Потемкину в потемках/Я на Пречистенке

найду, / Пускай с Булгариным в потомках / Меня поставят наряду». Вот уже невольно мы соприкоснулись с высшей точкой русской культуры — с Пушкиным — и, хотя бы в именах только, с основным конфликтом его времени, основным противостоянием: Пушкин и Булгарин как два символа извечного антагонизма русской культуры. И вот так — через здания — мы общаемся уже с Пушкиным...

— Ты с пивной кружкой общаешься, Тимашев, — рассмеялся Саша Паладин.

— Да и вообще ерунду говоришь, — сказал Скоков. — Это ты по себе меряешь. Ты про Пушкина, Булгарина, Пречистенку и Остоженку знаешь, а я, например, не знаю. Это я к примеру говорю. И получается, что ты укорил меня, что я мало книжек читаю, вот и все.

— Ты не прав, Вася, — промолвил, поглаживая черную бороду, Шукуров. — Илья тебя за дело укорил. Русскому человеку необходимо знать русскую культуру во всех ее проявлениях. Это только обогатит его. Русская культура самая богатая в мире, а мы, как говорил Пушкин, ленивы и нелюбопытны, а потому и бедны.

— Да нет, я это знаю, ты пойми, — схватил его за руку Скоков. — Я не то вовсе хотел сказать. Вот Илья, он внук профессора, а я из простых, у меня отец — плотник был, ведь Тимашев же должен предположить, что я чего-то могу не знать. И подумать, чтоб не обидеть меня.

— Ладно, Скоков, заткнись, — досадливо прервал его Саша. — Заладил! Ты еще не пьян. Представь себе, что Тимашев не гусар, как ты думал, а улан, и успокойся.

— Подожди, Саша, я только хотел у Ильи спросить...

— Да помолчи ты, — снова прервал его Саша. — Меня вот, например, интересует, чего это наш Лео молчит и что это за новая книжка у Тимашева в кармане...

— Ты, Саша, прямо как сенешаль — распорядитель за Круглым столом короля Артура, а мы все странствующие рыцари, — куртуазно ухмыльнулся Тимашев. — А вот и наша прекрасная дама, — и он погладил по плечу влюбленно посмотревшую на него Олю.

Сравнение с застольями короля Артура их пивных посиделок было придумано Тимашевым, но как же безвкусно часто он это сравнение эксплуатирует, подумал Лева раздраженно.

— Саша у нас, конечно, рыцарь, — засмеялся Скоков. — Паладин.

Это на самом деле была шутка Кирхова, который и объяснил Скокову, что такое паладин.

— А что? — отозвался Саша Паладин. — Быть может, в каком-нибудь другом измерении, в неведомом царстве-государстве я и был бы в самом деле рыцарем. — От этой мысли его безбровое, похожее на смятый хлебный мякиш лицо даже засветилось.

— Ничего! Твое происхождение от Афины Паллады не менее почетно, — заржал Лева.

— Все может быть... — сказал мистически настроенный Шукуров. — К тому же и Афина была воительницей.

— Я разве спорю? — ответил за Скокова Тимашев, доставая из широкого кармана нетолстую книжку. — А книжка замечательная. Я уже

ее третий день с собой таскаю. Называется «Повесть о Горе-Злочастии». Семнадцатый век. Вполне подходящий материал для размышлений о метафизике русской культуры. Могу прочесть.

И, не дожидаясь ответа, он открыл книжку:

— Всего только начало на пробу. Да и его достаточно.

*А в начале века сего тленного
сотворил Бог небо и землю,
сотворил Бог Адама и Еву,
повелел им жити во святом раю,
дал им заповедь Божественну:
не повелел вкушати плода виноградного
от едемского древа великого.*

Человеческое сердце несмысленно и неуимчиво:

*прелстился Адам с Евою,
позабыли заповедь Божию,
вкусили плода виноградного
от дивного древа великого;
Господь Бог на них разгневался,
и изгнал Бог Адама со Евою
из святого рая из едемского,
и вселил он их на землю на нискую.*

Не слабо? В начале не слово было, не дело, как мучился там некий Фауст. В начале был стакан вина. В чем был первородный грех? Не в том, что сорвали плод с древа познания и стали как боги, до этого мы не дошли, нет. А в том, что сорвали плод с древа виноградного и нажрались до поросячьего визгу. Так и осталось: не к

духу стремимся, а с собой боремся, как бы не нарезаться. У тех — быть или не быть, а у нас — пить или не пить. Отсюда и «карамазовщина» вся.

— Зато Запад никогда Бога не знал, — вступился Шукуров.

— Ты что, одурел? — хлопнул его по плечу Саша Паладин. — Митя Карамазов Бога знал, а вот Гамлет нет! Так, что ли?

Но тут вмешался Лева, допивший уже вторую кружку и почувствовавший себя в силах говорить:

— Все это чушь, что говорил Тимашев. Россия не стремилась к Богу, но он в ней пребывает, поскольку в ней нет гордости. Она никогда не рвалась к личностному осуществлению. Был, конечно, эпизод — прошлый век, всякие там «профессорские культуры». Ну об них нам Тимашев понаписал. Хорошо написал, разве я что? Но Россия давно поняла, что жизнь есть калейдоскоп, и перетряхивать его человеку не дано. Была Остоженка, стала Метростроевская, как эта улица будет называться через сто лет, никто не угадает. Да каждый из нас по собственному опыту это знает. Была одна женщина, потом другая, потом третья. Мы, что ли, выбираем? Жизнь за нас выбирает, вот и меняется узор. Скажем, был Чухлов говном, а теперь Чухлов над нами начальник... — пытался Лева донести до всех и до самого себя пришедшую ему вчера в голову идею.

— Ну, наконец валамова ослица заговорила. Оклемался? — спросил ласковым голосом Саша Паладин.

— Оклемался, — радостно отозвался на сочувствие Лева.

— Тогда должен понимать, что Клим Чухлов остался говном, — усмехнулся Саша.

— Мне все же непонятно, — свысока и иронически бросил Тимашев, — какой философский смысл Левка вкладывает в идею калейдоскопа. — и отхлебнул пива. А Лева подумал, что Тимашев так высокомерен к нему, потому что хочет самоутвердиться за его счет, списывая его как пьяницу из «серьезных» собеседников. И озлился.

— Жизнь — это калейдоскоп, — угрюмо повторил он. — Я пока не могу пояснить точнее. Представь себе только, как меняются узоры в истории, раз не видишь вокруг себя.

— Эй, — перебила их вдруг всех Оля, — а как это Горе-Злочастье выглядит? — Видно, все время разговора она думала о заглавии.

— Боишься? — ухмыльнулся Лева. — Правильно. Женщине нужно бояться.

Тимашев не отреагировал на его выходку, он листал книгу, а затем сказал:

— Странно, но никак. Поразительно мудро: оно принимает разные обличья, но является к молодцу, попробовавшему жизни кабацкой.

— Он все время на нас намекает, — сказал Скоков о Тимашеве.

Рядом раздался взрыв смеха. Смеялись плейбои.

— Ну и нормально, — говорил один. — Засадил я еще один стакан и обращаюсь к фраеру: «А теперь, сударь, после двух стаканов даю вам флары пять очков и все равно берусь у вас выиграть».

Лева отмахнулся и от них, и от Скокова:

— Тимашев, ты почему мне не отвечаешь?

— А чего говорить? В истории есть логика развития. Ты же все-таки философский факультет кончал, тебе ли не знать? Только понимать эту логику надо не примитивно. Продолжается процесс антропогенеза, человечество еще совсем недавно перестало быть диким и доисторическим, во внешних, по крайней мере, формах, слой цивилизации тонок, все время рвется. А в твоей идее, точнее, даже идее-образе жизни как калейдоскопа все берется вне развития. В таком случае смена динозавров людьми не закономерна, может быть и наоборот, если кто иначе перетряхнет твой калейдоскоп...

Он продолжал говорить, и Лева краем сознания ловил его речь, но его поразили вдруг слова «твоя идея», «твоя идея-образ». Быть может, наконец, к пятидесяти годам, он и на самом деле нечто настоящее и свое придумал, быть может, даже что-то вроде платоновской «пещеры». Надо только сосредоточиться, все продумать и попусту больше про это не болтать, не разбазаривать, пока другие не подхватили. Он медленно жевал кусочек воблы, допивая уже последнюю свою кружку, хотя остальные выпили по полторы пока.

— Ты нам лучше расскажи, Леопольд Федорович, чем мечтать, с чего это ты вчера так нарезался? Неужели из-за того, что Главный тебе выволочку устроил? А ты заперезживал... — заметил следивший за ним Саша Паладин. — И с чего ты такой задумчивый? Оппонента своего вызвал на разговор, а сам не слушаешь? Вспо-

минаешь, может, простого рабочего парня и его мать? — Лицо у Саши сморщилось, он явно собирался разрядить ситуацию и потешить собеседников за счет Левы.

Темноволосая высокая Оля опять встряла в разговор:

— Ой, а я давно хотела вас спросить, почему вас так странно зовут — Леопольд Федорович? Отчество-то вроде наше, а имя какое-то нерусское... Вы от каких родителей?

Опять поморщился Тимашев, стараясь не глядеть на Олю. Лева-Лео-Леопольд тоже нахмурился. Как ей объяснить, дура, что такое двадцатые и тридцатые годы? Что такое горение, жертвенность, предоущение наступающего мирового братства?.. Как рассказать об отчине его матери, спартаковце Леопольде, бежавшем из Германии, поразительно добром и честном человеке, по рассказам матери? В его честь она и назвала старшего сына. И его отец, крупный тогдашний парработник (это потом он сел на мель), не возражал, чтоб сыну дали немецкое (или польское?) имя. Во время войны родные, правда, стали называть его Левоу, даже хотели было имя переписать на Льва, но так этого и не сделали. Не объяснять же этой девице о хранимом в сердце, хотя и не действенном давно идеале, да и другим ни к чему. Разница в пятнадцать, а с Олей, пожалуй, в двадцать пять лет, больше чем в поколение очень даже чувствовала. Об этом он мог только со студенческим другом своим Гришей Кузьминым говорить. Он был той же школы и того же воспитания. «Мы с тобой одной крови, ты и я», — шутил

раньше Гриша, повторяя «заветные слова джунглей» из «Маугли». Другим он не мог бы даже спяну об этом рассказать, даже в исповедальном самобичевании. Это было святое. И хорошо бы съездить к Грише, подумал Лева. Бывал он у него теперь редко. С тех пор, как не удался один из его грандиозных проектов. Он так верил в Гришин талант, что решил развести его с Аней, его женой, даже комнату ему подыскал, где Гриша мог бы сидеть и творить. Но тот не сумел порвать с семьей, остался при жене и сыне Борисе, они с Гришей продолжали общаться, но Аня встречала его всегда с неохотой, уходила в свою комнату, хотя от дома ему не отказывала. И постепенно Левины визиты делались все реже, да и образ жизни у них был разный — домашний у Гриши и сравнительно вольный, гульной, «журналистский» у Левы. Да, поехать к Грише, родному Гришеньке, с ним поговорить, хотя он, наверно, презирает его за пьянство, но поймет, потому что близкие все же люди...

— Леопольд Федорович! — глуповато-настойчиво повторила темноволосая Оля. — Так от каких вы родителей?

Ответил рывшийся в своей книге Тимашев:

— Я скажу.

И снова прочитал:

*Был оногде у отца, у матери,
единый сын свято крещеный,
и возлюбили его отец и мать,
учали его учить, наказывать,
на добрые дела наставляли:*

*«Милое ты наше чадо единое,
послушай ты учения отцовского,
послушай ты молитвы материнския,
благословения родительского...»*

Читал Тимашев хорошо, с выражением.

— Bravo, — сказал Саша. А Оля захлопала в ладоши:

— А какие наставления? — воскликнула она.

— Пожалуйста, — Тимашев опять открыл книжку:

*Не ходи, чадо, в пиры и в братчины,
не садися ты на место большее,
не пей, чадо, двух чар за одну,
еще, чадо, не давай очам воли,
не прелщайся, чадо, на добрых красных жен...*

— Ну ладно, хватит! — Лева протянул руку и взял у Тимашева книгу. — Дай почитать. Я сам разберусь, что тут к чему...

Все засмеялись.

— Лео, я на очереди, не тяни, — сказал Саша.

— А я за тобой, если Илья не возражает, — вопросительно посмотрел на Тимашева Шукуров.

— Да ради Бога, — ответил тот. — Пусть только Помадов ее не посеет спяну...

— Не посею, — Лева зажал книгу под мышкой. — А тебе, настойчивая, — повернулся он к Оле, смотревшей на него насмешливыми глазами, потому что чувствовала, что все слегка надлевой сейчас подсмеиваются, а Леве было обидно такое ироническое отношение от глупенькой девчонки-машинистки, и похмельное

раздражение вспыхнуло снова, — я тоже скажу. Почему, спрашиваешь, так меня называли да кто были мои родители? Не твоего ума это дело, девочка. Да и вообще что с тобой о прошлом говорить — все равно не поймешь. А вот не хочешь ли о будущем? О твоём будущем? В каком обличье на тебя, дуручку, твое Горько-Злочастье накинется? Судя по лицу твоему и по дурацкой настойчивости, которая мужчинам не нравится, счастья тебе в личной жизни не видать. Никто тебя не полюбит так, чтоб надолго. Мужа хорошего не найдешь, не будет у тебя мужа. А если и будет, то изменять тебе будет на каждом шагу. Такие, как ты, для этого словно рождены и предназначены, — добивал взрослый мужик молоденькую девицу, повторяя уже однажды говоренное.

И добил. Она широко посмотрела на него, подбородок задрожал, она закрыла лицо руками и вдруг зарыдала самым настоящим образом, всхлипывая, вздрагивая, хотя и тихо, еле слышно, стесняясь чужих окружающих. Мужики переглянулись в смущении, а Оля быстрыми шагами пошла, почти побежала из пивной.

— Лео, это жестоко, — сказал Тимашев и пошел следом за Олей.

— Да, Лео, пожалуй, чересчур, — сказал Саша Паладин.

Лева и сам чувствовал, что поступил кое-как, нехорошо поступил.

— Ну и пусть, — с отчаяньем бросил он, — что мне теперь, удавиться? — В юности в такой ситуации он, может, и удавился бы, во всяком случае бросился бы наутек, страдал бы не один

день, теперь же жизненный опыт подсказывал ему, что обойдется, образуется, рано или поздно, а образуется, ничего с собой из-за его слов эта Оля не сделает. — Надо мной смеяться можно, а мне нельзя, — продолжал тем не менее оправдываться Лева, напоминая себе, каким он был в детстве, когда, сбивши с ног противника, даже превосходящего его, он пугался, что противник ударился головой об пол и теперь непременно умрет, а причиною он. Лева, и это бывало особенно страшно, хотя его противники, мальчишки из коммунальных квартир и барачников, привыкли переносить и не такие удары, но об этом Лева тогда не подозревал, лишь спустя годы понял. — У меня, может, тоже неприятности, их у меня помимо всяких баб хватает. Я вчера в своем подъезде крокодила встретил, — вдруг добавил он, не переводя дыхания, внезапно осознав, кого напоминает ему это странное «нечто» вчерашнее, а осознав, тут же и выпалил это, чтоб неожиданным этим сообщением отвести от себя упреки в жестокости по отношению к Оле.

— Ко-го? — переспросил Шукуров, взявшись за свою черную бороду и поверх Левиной головы сделав глазами знак Саше Паладину, что, конечно, с Левою не все в порядке, но раздражать его не надо. Лева заметил и ответный взгляд более пронизательного Саши Паладина, который означал: «Не суетись, давай послушаем».

И Лева, захлебываясь, добросовестно пересказал, что было.

— Ну это ничего, — похлопал его по плечу Шукуров, облегченно вздыхая, — спяну чего только не привидится! Мог какой посторонний быть, — пояснил он, — а могло и никого не быть. Просто перебрал ты, вот чертовщина всякая и мерещится.

— Что же он тебя не съел-то, раз крокодил? — пошутил Скоков, тоже успокаивающе похлопывая Леву. — Или пьяных у крокодила желудок не принимает? — он засмеялся. — Понимаешь, я думаю, Игорь Шукуров прав, ты перебрал вчера, вот и результат. Ты похмелись сейчас и давай домой. Хочешь, я тебе еще пива принесу?

Лева видел, что ребята успокоились. И ему самому стало спокойнее.

— Ты, Лева, в этом случае напоминаешь мне обезьяну из известного анекдота про крокодила и обезьяну, — сказал Саша Паладин, анекдотом как бы подводя итог возможным волнениям: раз он рассказывает анекдот, значит, все в порядке. — Для невежественных рассказываю вкратце. Обезьяна с крокодилом нашли бутылку водки. Поспорили, кому достанется. Договорились, что тому, кто дольше под водой просидит. Вот крокодил нырнул, залег на грунт и ждет, чтоб времени прошло подольше. Минут через десять — пятнадцать думает: «Ну уж столько обезьяна не высидеть!» Выныривает, смотрит, а обезьяна уже устроилась на верхушке пальмы, совершенно пьяная, и говорит: «Ну, зеленый, ты и ныряешь! Просто блеск!» А пустая бутылка под деревом валяется. Вот с тех пор

крокодил эту пьяную обезьяну повсюду и ищет. И тебя, Лева, за таковую и принял.

Все заухмылялись, и Скоков заторопился сказать:

— Дозвольте и мне встрять. Ты, Лева, как в другой раз увидишь крокодила, ты ему словами обезьяны из другого анекдота. Вот плывет крокодил по реке и видит, что в кустах обезьяна возится. «Ты что там ищешь, обезьяна?» — это крокодил спрашивает. А она отвечает: «Грибы». «Какие тут могут быть грибы, дура ты!» — говорит крокодил. А она ему: «Грибы отсюда, говно зеленое!»

Снова все засмеялись.

— Дурацкая шутка, — ответил Лева, однако улыбаясь, успокаиваясь и радуясь, что на него не сердятся из-за Оли, значит, вроде бы выходку простили. — Крокодил или не крокодил, но кто-то болотной тиной всю одежду мне запачкал.

— В лужах не надо спяну валяться, — сказал наставительно Саша Паладин и вдруг хлопнул себя по лбу: — Эврика! Что же касается крокодила, то я понял, почему он тебе померещился. Помнишь, мы вчера ходили к Симке Корешкову, ну художнику из «Крокодила», из журнала «Крокодил», не смотрите на меня, как на Лео, я здоров, ну что ты не помнишь, ну тот, у которого в кастрюле двадцать семь бутылок было?.. Вспомнил?

— А? Да, — ответил Лева и захохотал своим обычным дурным басом.

Действительно, вчера они отсюда же и примерно в это же время отправились к случайному

Сашинуму приятелю, случайно же здесь встреченному, художнику, знакомством с которым Саша не то чтобы гордился, нет, но оно ему льстило — все же художник. Они так же зашли попить пива, только стояли не у забора, а за столом, а напротив них пил пиво маленький человечек в шляпе, чем-то похожий на Мандельштама, ноги у него под столом заплетались; вытащив пачку «Примы», он все никак не мог ее раскрыть, потом долго и упорно ронял сигарету на стол, поднимал ее, наконец прилепил ее к губе и тут обнаружил, что у него нет спичек, оперся о стол, мутными глазами посмотрел на стоявших визави Леву и Сашу и попросил прикурить. Тут Лева заметил, что Саша давно улыбается, глядя на маленького человечка. Оказалось, что они знакомы. Саша поднес тому спичку и спросил, где это он с утра успел так набраться, ведь еще нет одиннадцати. Семен Корешков ответил, что дома и что у него дома еще осталось целых полных двадцать семь бутылок. Ни Саше, ни Левае пить не хотелось, но двадцать семь бутылок произвели впечатление, и, переглянувшись, они решили, что распить на халяву бутылочку было бы неплохо. Да и вообще, сказал Саша, посмотришь, как живут художники, он здесь рядом, через дорогу. И они пошли к художнику, страхуя его с обеих сторон, потому что того заносило то в одну, то в другую сторону, он спотыкался, ноги у него заплетались и переплетались, и было непонятно, как они вообще его по земле носят. Жил он и в самом деле в доме через дорогу, за магазином «Минеральные воды», в старом, видимо, когда-то до-

ходном доме, «на первом этаже», как пояснил художник, путаясь в слогах. Но, войдя в подъезд, они увидели, что к первому этажу еще ведет довольно крутая лестница, один, но большой пролет. Семен поднимался, роясь в карманах, роняя ключи, грозя все время рухнуть спиной вниз. Наконец они попали в квартиру. Как и следовало ожидать, она оказалась коммунальной, но помещение художника состояло из двух смежных комнатенок-пеналов: прихожей и жилой. В прихожей, в дальнем углу, лежала наваленная куча одежды: пиджаков, брюк, курток, рубашек и плащей, а также шапок, башмаков и сапог — на все времена года, вдоль стены громоздились газеты и журналы, разлохмаченные от времени. В жилой комнате стоял стол, очевидно, с остатками вчерашнего пиршества, пустыми тарелками, стаканами, огрызками хлеба и селедки. На стене висела полка — тоже с журналами и растрепанными книгами, над полкой были приклеены картины Семена Корешкова, написанные акварелью, как он говорил, «для души»: взяточники с кривыми ухмылками и змеиными телами, бюрократы в дубовых креслах, дядя Сэм, высокий, бородатый, прикрывающий свой срам звездно-полосатым флагом, болото, в котором засела новая техника... На вопрос Левы, разве не опубликовал он эти картины в своем журнале и разве не на злобу дня они написаны, тот недоуменно пожимал плечами и соглашался, по-прежнему утверждая, что они написаны «для души». Под полкой стояла узкая кушетка, прикрытая разноцветным одеялом. С другой стороны находился комод, на ко-

тором тоже были навалены груды книг. Наконец Саша сказал, что хватит разговоры разговаривать, пора бы хотя бы одну бутылку достать, и Лева тотчас почувствовал, как во рту и в желудке наступило приятное ожидание. Маленький человечек нырнул под стол и, побрякывая, вытащил оттуда большую кастрюлю. Саша слевой недоуменно переглянулись. А Семен сказал, что да, полно бутылок, целая кастрюля полных бутылок. Он открыл крышку, и Саша слевой увидели, что она забита большими пузырьками с каким-то лекарством. «В-вот, — сказал художник, доставая один из них, — полная бутылка. Р-реко-мендую. Настойка боярышника». Но они отказались пить с утра пораньше настойку боярышника и ушли, а теперь Лева думал, что вот уж кого воистину посетило Горезлочастье, но вчера, уже в дверях подъезда, сказал Саше, что у него от хозяина впечатление, что его «Крокодил» полностью использовал, съел, а отжимки, остатки, шкурку, шелуху выплюнул, что человека нет, одна оболочка осталась, которая живет только по видимости. «А мы чем лучше? — вдруг спросил Саша. — Пьем, что ли, меньше?» Лева похолодел: «Ты что имеешь в виду? У нас все-таки духовные запросы есть!» — «Что имею, то введу, — рассмеялся Саша. — Семен думает, что они у него тоже есть. Он же для души все рисует». Да, теперь причина, по какой ему померещился крокодил, вроде бы прояснилась. Но грустно стало от этого воспоминания. И страшно.

«Вот уж воистину ненужный человек, — думал Лева о художнике Семене. — Не таким

размышлять о жизни. Ненужный человек — это совсем не одно и то же, что лишний человек. Лишние люди были двигателями мысли, а потому и истории. А потом пришли новые люди, которые набросились на лишних людей за то, что те не умели работать. В этом проявилась их историческая неправота и ограниченность. Слишком утилитарный подход к действительности. А ненужные люди?.. Они были всегда. Это внеисторическая категория. Это что-то вроде люмпенов. А я? Я всегда считал себя из породы лишних людей, потому что отличался склонностью к рефлексии, к самоанализу, а это именно и есть их конститутивный признак. Всем нам отец шекспировский Гамлет. Но я сумел перебороть эту слабость, которую вот Гриша Кузьмин с большим трудом перебарывал. Я научился работать, делать, делать то, что надо, делать профессионально, на высоком уровне. Даже спяну я могу качественно выполнить любое задание. И начальство это знает и ценит», — горделиво подумал он. Да, в нем, в Лева, слились по крайней мере две тенденции, две линии, два этапа русской интеллигенции: лишние люди и новые люди, лишние люди и желчевики, вспомнил он название статьи Герцена. Он и рефлектирует, и работать умеет. А то, что пьет, это уже признак русской интеллигенции XX века. «Вообще, интеллигент в XX веке стал чем-то вроде пролетария, — думал Лева, — продает свои знания и мозг, то есть свою рабочую силу, прилагает свои интеллектуальные усилия не к разрешению мирового целого, а к узкому участку указанной и предложенной

работы, за которую он получает деньги, нужные ему для самовоспроизводства. Золотое время для интеллигенции, когда она была обеспечена и ни от кого не зависела, чтоб искать истину, либо когда ей платили за поиски истины. — это время кончилось. Золотой век всегда позади. Теперь даже лишние люди и те служат. Даже и ненужные служат...»

— Ты чего загрустил, Лео? — спросил Саша Паладин.

— Он, наверно, пива еще хочет. Я схожу, — предложил Вася Скоков.

— Нет, друзья, пора в контору, — сказал Шукуров. — Может Главный нагряться. Да и дождь сейчас хлынет. Хотя, — спохватился он, — если у нашего друга есть потребность, то возражений нет.

Лева посмотрел на небо. Оно потемнело. Уже не было тучи, наползавшей на солнце, потому что и солнца не было, все небо было черно-синим, без просвета. Листочки на высоком тополе, стоявшем в пивном дворе, перестали колыхаться, замерли. Стало душно, как в парнике, где произрастают тропические растения. Вот-вот должны были упасть первые капли дождя. Многие из пивших пиво, тоже поглядывая на небо, старались поскорее опорожнить свои кружки.

— Да, пожалуй, пора, — сказал Лева, и они вышли на улицу.

Прошелестели первые порывы ветра. Приятели ускорили шаг, но ветер задул им прямо в лицо, и они принуждены были идти, слегка наклонившись вперед. Когда они уже подходили к

редакции, маленькому двухэтажному особнячку, стоявшему в переулке, на их головы посыпался дождь. Они побежали и успели вскочить в дом, не очень промокнув, и тут-то дождь хлынул потоком. Настоящий тропический ливень.

— Вовремя поспели, — проговорил Шукуров, всю дорогу бежавший впереди, размахивая в разные стороны руками. Он помотал головой, отряхиваясь, как собака, и от головы и с бороды полетели мелкие водяные капли.

— Надо это дело пойти перекурить, — сказал Саша Паладин. Он заглянул к секретарше Главного, но она сказала, что Главный будет не раньше чем через час, и редакционным коридором они двинулись, минуя зал для заседаний редколлегии, к заднему входу, где у окна на лестничной площадке было что-то вроде курилки. Раньше они курили в помещении. Главный несколько раз говорил им, что надо подумать о некурящих и «переломить ситуацию курения на позитивные рельсы», но перебороть вредную привычку сотрудников не мог. Тогда Главный заявил, что раз они ведут себя, как школьники, и не понимают «культуру этики» (это было его любимое выражение), то он прибегнет к другим мерам, будет за курение в комнате — в приказе он сформулировал: «за превращение помещения в неподобающую функцию» — объявлять выговор. Эта мера подействовала. Теперь курили на лестничной площадке.

По дороге Саша заглянул в комнату к Тимашеву позвать покурить и догнал их уже на площадке. На подоконнике привычно торчала набитая окурками консервная банка, заменявшая

пепельницу; как всегда, лежали оставленные курившими здесь машинистками спички и пачка сигарет. Стояли два стула: на один уселся Саша, другой Скоков уступил Лева:

— Всегда готов уступить аксакалу и доблестному охотнику за крокодилами. А я пока пойду пепельницу опорожню.

Он шутил, но стрезва, как всегда, доброжелательно и услужливо. Некурящий Шукуров остался стоять. Саша слевой закурили. Вышел к ним Тимашев с сигаретой в зубах. Вернулся Скоков с пустой консервной банкой, поставил ее на прежнее место и тоже закурил. Минуту все молчали. За окном хлестал дождь, струи воды ударялись о стекло, застилали улицу.

— И вправду хорошо успели, — сказал Скоков.

Лева слушал беседу о дожде, а сам думал о калейдоскопе. «О чем только не говорится!.. А то, что приятель сменил образ жизни, никого не волнует. Или нет, я не прав, об этом молчат из деликатности. А может, и то, что в их калейдоскопе я пока нахожусь на прежнем месте, у них узор не сменился, не нарушен. Я по-прежнему пью и якшаюсь со случайными бабами, я в той же системе. Это мне кажется, что в моем калейдоскопе узор нарушен. А что это значит?..».

Левина размышления прервал Тимашев.

— Скажи, Лео, — обратился он, выдыхая дым, — а если лев на крокодила налезет, кто кого поборет? Как ты думаешь?

Все засмеялись. Засмеялся и Лева.

— Смотря какой лев, — сказал он, — Р-р-р! И снова все засмеялись. «Продал, Саша, скотина, — думал Лева. — Смеются. Тема для шу-

ток». Но не сердился, потому что и впрямь это было смешно, и смеяться было лучше, чем бояться. Лева подумал, что Тимашев на него за Олю не сердится, потому что ему на самом-то деле на Олю наплевать, а он, Лева, знает, с кем у Тимашева настоящий роман — с Линой Бицыной, соседкой Гриши Кузьмина и племянницей Владлена Вострикова, с которым Лева в течение года как-то работал вместе и находился в полуприятельских отношениях. Тимашев отнесся к тому, что Лева знает про Лину, весьма серьезно. «Если будешь об этом трепаться, — сказал он просящим голосом, — то набью морду. А вообще серьезно прошу тебя, не смей никому и никогда о ней говорить». Тон был искренний и серьезный, взывавший к мужской чести, на такой тон Лева всегда отзывался и потому молчал о Лине, только думал о том, как все в жизни перепутано и взаимосвязано, как все тесно, и еще злился на Тимашева, что он попутно прихватывает и других девиц, вроде Оли, будто ему мало жены и Лины.

— И как же это ты, Лева, друг мой, умудрился целую мысль в одном абзаце у Гамнюкова вычеркнуть? — прервал Левина размышления Саша. — Ведь в других абзацах у него, наверно, уж совсем ничего не было?..

— Да, Леопольд Федорович, не хватает вам еще культуры этики, — встрял и Скоков. — Уж Клим Данилович не преминет этим воспользоваться, он тебе вашу дружбу припомнит!

В редакции теперь все недолгоблывали Чухлова, но были вынуждены ему подчиняться. Поэтому в этом маленьком конфликте все были на

стороне Левы и, подшучивая надлевой, тем самым как бы выражали ему свое сочувствие. А Леву любили друзья, он это знал. Он вспомнил, как три недели назад, как раз в его день рождения, ребята повесили шуточный плакат, плакаты не каждому писались, и Леве плакат льстил. Он его вздохом цитировал Верке, которая кисло улыбалась, но иронической любви друзей не приняла. Ей уже, как и Инге, хотелось, чтоб к Леве относились с пиететом, без иронии. А плакат был, конечно, насмешливый:

«Внимание!!! Разыскивается именинник (кличка «Лео»). Особые приметы: 1. Волос — пегий, длинный, нечесаный, лоб — с залысинами. 2. Глаз — узкий, с прищуром, временами тоскливый. 3. Тело — атлетически-упитанное. Граждане! Будьте бдительны! Именинник особенно опасен в состоянии «завязал». Идеологически вооружен и при задержании может оказать сопротивление. Редакция тем не менее надеется, что после задержания именинник достойно отметит свой юбилей, чему мы и будем свидетелями еще сегодня». Но теперь вдруг он наступил, ему вдруг захотелось не иронической любви, а настоящей, такой, чтоб можно было притулиться, расслабиться, пожаловаться на жизнь, на начальство, чтоб тебя пожалели, поняли, это главное, чтоб можно было, не стесняясь, даже о крокодиле рассказать... «Кому сказать тоску мою? — думал Лева. — А все же некому, только Грише, только с ним поделиться, все свои огорчения и страхи ему рассказать. Он поймет!».

— Илья! Тимашев! — крикнула, заглядывая к ним па площадку, секретарша. — К тебе автор пришел.

— Ну что ж, поработали, пора и делом заняться, — сказал Скоков.

— Ну уж нет, делом мы после работы займемся, — поправил его Шукуров, щелкнув себя по горлу.

Снова все засмеялись, загасили сигареты и пошли работать. Лева ответил на несколько писем, разобрал наваленные на стол скопившиеся за несколько дней статьи. На одни после беглого просмотра он отвечал сразу: «Уважаемый Имьярек! Редакция внимательно ознакомилась с присланной Вами статьей. Статья была также рассмотрена в отделе. К сожалению, по общему мнению, она не отвечает требованиям, предъявляемым нашим журналом к публикациям подобного рода. Рукопись возвращаем. С уважением, зав. отделом Л. Помадов». Таково было клише стандартного ответа. Более подробные письма вызывали ненужную переписку с авторами, полагавшими, что они открыли новые законы, и цеплявшимися за каждую неудачную фразу редактора. Пару заинтересовавших его рукописей Лева сунул в портфель, куда перед этим уже упрятал «Повесть о Горе-Злочастии». Сейчас читать статьи внимательно он был не в состоянии и надеялся заняться этим дома, на досуге. Голова после вчерашнего была все же тяжелой. Но он был доволен, что, несмотря ни на что, он раскидал часть работы, сделал ту ее механическую, но необходимую часть, которая не требовала интеллектуального напряжения.

Прикрепив скрепками свои ответы к рукописям статей, Лева отнес их в машбюро. Там была одна Оля. Она держала перед собой маленькое зеркальце и наводила марафет: подкрашивала ресницы и губы. На Леву она даже не взглянула, даже головы не повернула. Он тихо положил свои материалы в папку для печатания и тихо вышел.

Вернувшись в комнату, он услышал радостную новость, взволновавшую редакцию: звонил Главный и сказал, что ни он, ни его заместитель сегодня не приедут, они на совещании, и вызвал на это же совещание и ответственного секретаря. Короче, начальства не будет, а времени два часа, и можно пойти пообедать, и не просто так, а *со смыслом*, зайдя в ближайший магазин, — благо, принюхиваться, не пахнет ли от них спиртным, сегодня некому. Да и дождь кончился. Все хорошо сходилась. Лева любил питье в столовой, когда вначале нужно было под каким-то предлогом набрать чистых стаканов, потом уже, сидя за столом, составить их в ряд, кто-то тихо лез в портфель за бутылкой, быстро открывал ее, остальные оглядывались, нет ли милиции, *прикрывали* приятеля, официантки делали вид, что ничего не замечают (им доставались пустые бутылки), водка быстро разливалась по стаканам, бутылка убиралась, стаканы расходились по рукам, поднимались в воздух, ими не чокались, только говорили негромко: «Ну, будем!» Водку выпивали и принимались яростно есть первое — своего рода закуска. Такое рыцарское братство сплоченных общей целью людей. Лева любил сплоченность

и братство, оно грело его. Но сегодня он уже решил поехать к Грише, если тот не будет возражать. И, попросив приятелей подождать, пока он сделает звонок, чтоб понять, сможет он с ними пойти или нет, Лева вышел в коридор к телефону.

Трубку снял Гриша. Услышав его голос, Лева обрадовался, он боялся, что подойдет Аня. Голос у Гриши был тревожный, и Лева сообразил, что они не созванивались несколько месяцев.

— Гришенька! — говорил он так, чтоб Гриша не смог отказать. — Давно не виделись. Хочу тебя повидать. Поговорить надо. Очень надо. Как Аня, Борис? С ними все в порядке? А у меня сложности. Ты же знаешь, я к тебе редко за помощью обращаюсь. А что, что-нибудь случилось?

— Ты понимаешь, Лев, — говорил Гриша, голос у него был не только тревожный, но и смущенный и тягучий, словно он хотел отказать ему в визите, но не знал, как это сделать. — Ты понимаешь, у Ани горе. Да нет, с нами все в порядке, и на работе все в порядке. Семейное горе, прямо злочастье какое-то. Племянник ее младший сын ее сестры Симы, ты ее должен помнить, мы как-то у них вместе были, так вот ее младший, двадцать семь лет парню, погиб позавчера. Сегодня похороны и поминки. Аня вся черная ходит. Жуть какая-то. Молодой парень, второй раз женат. Не знаю. А тебе очень надо? Отложить не можешь? Ну приезжай. Может, отвлечешь Аню. Только не надолго. Ладно? Прямо сейчас можешь выехать? Жду.

— Ну чего? — спросил Шукуров.

— Нет, не смогу с вами, — ответил Лева.

— Бабе звонил, — понимающе сказал Саша Паладин, — с похмелья на это дело всегда тянет.

— Да нет, — сказал Лева, беря портфель и перекидывая через руку плащ. Он пошел к двери, остальные за ним.

— Наверно, крокодилу звонил, — пошутил Скоков. Все засмеялись. Вышли вместе. Но приятели пошли прямо, к магазину, а Лева свернул налево, вышел на Садовое кольцо и там сел в троллейбус.

Глава III

САМОБИЧЕВАНИЕ

В троллейбусе Лева посчастливилось сразу сесть — хотя и спиной по ходу движения, чего он не любил, лицом к входящим, того и гляди, что войдет какая-нибудь старушка, и придется вставать, место уступать. И все же хорошо, что хоть какое место. Троллейбусы по Садовому были всегда набиты сверх меры, словно автобусы-экспрессы, идущие от конечных станций метро во всякие там Чертаново, Медведково, Беляево, Лианозово, Орехово-Борисово... Лева везло, он всегда жил неподалеку от метро: минутах в пяти пешего хода.

Троллейбус тронулся, и тут же Лева испытал острое сожаление (даже будь возможность — выскочил бы), что не пошел с ребятами. Какого черта, в самом деле, его понесло к Грише?! Посидел бы спокойно с ребятами, выпили бы, потрепались — в этих посиделках самое приятное было чувство безответственности, словно попадаешь домой на мягкий диван в домашние шлепанцы. Только даже еще спокойнее. Бутылка сменяет бутылку, одна тема другую, все друг перед другом нараспашку, разговор оживляется все более и более, а утром есть что вспомнить, если, конечно, удалось избежать всяких гадо-

стей и глупостей. Вот именно — если. Лева вспомнил вчерашнее и снова помрачнел. Нет, не будет он выходить на следующей остановке и догонять друзей. Хотя Кирхов всегда говорил, что Лева из тех людей, что сначала долго уходят, но потом все же в компанию возвращаются, особенно если пьянка идет. Кирхов — вечный издеватель, сатана. Но — прав, так оно всегда и бывало. Вот они сидят в стекляшке, выпили, посидели, но у Левы срочная работа — опять какой-нибудь академик, начальство ему доверяет, да и академики привыкли, что именно он пишет за них статьи. «Еще одну, — говорит Лева, — и пойду». Кирхов хитро щурит глаза, хекает и показывает на Леву пальцем. «Ты чего?» — спрашивает Лева. «Да нет, ничего, — отвечает Кирхов. — Ты, конечно, уходишь. Ты только скажи, сейчас за следующей побегим, на твою долю брать?» — «Нет», — отчаянно-твердо говорит Лева. Выпивает «на ход ноги» и уходит. Но через квартал он понимает, что сегодня все равно работы не будет, а в кафе уютная компания, он колеблется, немного смущают насмешки красавца Кирхова, сардоническое выражение его насмешливого, удлинленно-породистого лица. Лева машет рукой и возвращается, проклиная себя за свою слабость, но домой просто не идет. Трудно променять вольное дружество на домашние тяготы. Он возвращается, Кирхов смеется и говорит: «Надо было с тобой все же на бутылку поспорить!» Лева терпеливо сносит приятельские издевки и остается с друзьями. Нет, все-таки я ужасно слабый человек, думал про себя Лева. Никакой

верности однажды принятому решению... Вот тот же Федор Кирхов, он может, если ему надо, бросить редакционную компанию и уйти куда-то. Впрочем, с завистью подумал Лева, у Кирхова повсюду компании, причем самые разгульные, — все хотят общаться с писателем! Тимашев, который почему-то стал конфидендом Кирхова, говорил, что тот и в самом деле большой писатель, может быть, даже великий. Только для «тамиздата», здесь не пройдет. Во всяком случае, если говорить о последнем романе, там-де «все болевые точки нашей культуры». Все это было сомнительно! Когда Кирхову писать, если пьет он не меньше Левы!.. Да и вообще, что значит в наше время сам термин «великий»? Уже немало, если ты классный специалист, в данном случае — журналист «с пером и головой». Это да, это у Кирхова не отнять. То, что Кирхов *пишет прозу*, Лева знал. Но думал, что рассказы, то да се. А тут — романы!.. Где время взять? Не раздваивается же он? Хотя, хотя... все говорят, у него *похмелья не бывает*. Вот и находит время какое-то! Кстати, и сегодня его в редакции не было. Небось раньше всех узнал, что Главный не придет, и тут же сбежал. И никто на него не обижается, что не пошел с *коллективом*, его любят, чувствуют, что он, как и они, туда же направлен, что бы там Тимашев ни болтал, хоть и ярче всех, талантливее. А так — свой! Не то что Тимашев!.. Этот — чужой. Инородный какой-то!

Не талант отъединяет, думал Лева. Отъединяет нечто другое. Но что? *Индивидуализм*, вот что! Боязнь за собственную шкуру. Свои инте-

ресы — прежде всего! Кулацкая психология! Струсил же Тимашев, когда в переплет со всеми попал. Паладин рассказывал. Сидели, выпивали, в неположенном, разумеется, месте. Милиционер их застукал, капитан. Стал спрашивать, кто где работает. Тимашев с испугу не только себя назвал, но и Сашу, и остальных вынудил назваться. Сам он объяснял потом, что надеялся на испуг милиции перед журналистами. Действительно, не тронули, да и выхода другого не было, а все равно — некрасиво. «Мне-то все равно, — говорил Паладин. — Я переживу. А вот Тимашеву всю жизнь скверно будет». Ну, уж не так и скверно! Да и вообще, надо бы присмотреться к нему, какой-то он слишком благополучный, будто еще какие источники энергии его подпитывают! Знаем, бывали такие случаи!.. Вроде бы и совсем даже ученый, профессор, а сам за товарищами приглядывает... Чужака не случайно в нем ребята чувуют. Конечно, Тимашев вроде бы не приглядывает, даже наоборот — обособленно держится, и все же... «Впрочем, необоснованно нельзя подозревать, — сказал вдруг себе Лева. — Это уже в чернуху провал, «помадовщина», как сказал бы Кирхов. Надо быть реалистом. Я, например, для ребят «свой». А вот Гриша Кузьмин тоже всегда на особинку держался, без высокомерия, этого не было, но сам по себе». Его уважали, думал Лева, но «своим» тоже не считали. Один он, Помадов, оказался близок к Грише, дружески вошел в дом, потому что понимал и чувствовал, кто такой Гриша, что он может! Да, лет двадцать с гаком назад это было, они

встречались, общались, спорили, еще за год до Двадцатого съезда они уже многое видели и понимали. А сейчас — семьдесят девятый на дворе, а что сделано? Что же сделано?

Лева поднял голову. Прямо перед ним, у кассы, стояла красивая блондинка с распущенными волосами, в джинсах и синей блузке. «Киска», как сказал бы Кирхов. Лева уставился на нее, забыв совсем, что он отнюдь не Кирхов и даже не Тимашев, смущая девицу пламенным, пожирающим взглядом. Она посмотрела на Лева, распатланного, с заметно опухшей физиономией, в малюсеньких очечках, рябоватого, широколицего, сидевшего раскорякой с портфелем на коленях и, очевидно, дышавшего перегаром; посмотрев, дернула презрительно вверх своим кукольно-ухоженным личиком и отвернулась. А Лева был не настолько пьян, чтоб не увидеть себя ее глазами, старого, потасканного, почти пятидесятилетнего мужика, совсем не «бобра», — престижного, вальяжного деятеля с положением, на которого могла бы клюнуть такая девица. Деятели не так выглядят, да и в троллейбусах они не ездят.

Под пятьдесят уже, а что создал, чего достиг, в чем преуспел? Ни карьеры, ни науки — все мимо. А ведь это два единственно возможных (пусть и альтернативных) пути для современного интеллигента, желающего оставаться в рамках лояльности. Ну, на карьеру, положим, он никогда де ориентировался, в его систему ценностей она не входила. Слишком преходящи ее блага, слишком суетны и незначительны с точки зрения вечности. Только мелкие люди, полагал

Лева, живущие сиюминутным, кидаются на карьеру. Хотя именно она дает устойчивость в жизни, которую только псих не оценит. Некоторым кажется, что они могут совместить карьеру с наукой. Но это немыслимо, немыслимо по определению. Наука о сути говорит, а такой подход карьеристу противопоказан. Наука — святое дело!.. Когда-то он мечтал, что они с Гришей вдвоем, объединив свои усилия, философ и историк, нечто сумеют сказать важное о жизни. Он тогда просто жил у Гриши, считал его самым умным, самым талантливым, самым многообещающим, потом ругал фетюком, что тот так от жены и не решился уйти, потому ничего и не сделает, ставил себя в пример, свой сравнительно вольный образ жизни — не сидит бирюком, работает в журнале и может хоть как-то влиять на духовное развитие общества. А Гриша трудился над книжкой о русской общине, которая спустя двенадцать лет вышла — маленьким тиражом, для узкого круга специалистов. Никто ее, кроме специалистов, и не заметил. А ведь мог греметь. Теперь занимается уже больше десяти лет проблемой культурного архетипа — темой совсем дохлой, почти непродуманной. Что есть архетип русской культуры? Это и в древность надо лезть, и с Западом сравнивать — да это на всю жизнь хватит копать. А потом что? В стол? В стол Лева не умел писать. Статья, не предназначенная для печати, не имеющая конкретного прицела на какой-либо печатный орган, была для него почти что и несуществующей. Он был и в самом деле профессионал, не умел делать полдела, а текст,

написанный ради текста, ради выяснения самому автору какого-то смысла, пусть даже истины, не казался ему делом. Надо ориентироваться хотя бы на «тамиздат», как Кирхов. За это никто из интеллигентных людей не осудит. А писать просто в никуда?.. Он задумался. А как же Спиноза, опубликованный посмертно? Или Дешан? Или даже наш Чаадаев? Ну, это тоже надо, чтоб так повезло, чтобы рукописи не пропали, чтоб нашлись ученики, поклонники или хотя бы доброжелатели, которые захотели бы с этим возиться!.. Да в древности и писали-то единицы. Можно было надеяться, что рукопись не затеряется. А при нынешнем печатном буме? Когда и опубликованные тексты люди читать не успевают? На что рассчитывать?..

После смерти на что нам рассчитывать?.. Лева вдруг представил, что вот он умирает, его хоронят, начинают говорить, а что же он сделал, и никто не может вспомнить ничего, кроме того, что он редактировал хорошо статьи, будут говорить, что он был талантливый исследователь, но тут же прикусывать себе языки, потому что в опубликованных им статьях ничего, кроме ситуативной правоты, найти нельзя, их даже а книжку не собрать, он в этом сам сейчас убедился, пытаясь это сделать, реального предмета исследования нет... И что? Будут приятели вспоминать, как он с ними пил, какой был милый да смешной?.. Лева похолодел. Он попытался сравнить себя с Гришей. А что от Гриши останется?.. Все-таки какая-никакая, а книга, которая для специалистов будет интересна и через десять, и через двадцать, а может, и

больше лет. Она хотя бы будет входить непременно составляющей в библиографии по вопросу об общине... Да еще, глядишь, и рукописи останутся, а то и вторую книгу, дай Бог, удастся издать, пусть хоть через десять лет. Важно, что она пишется и, надо надеяться, будет написана...

А от меня, Леопольда Федоровича Помадова, что останется? Надпись на могильном камне? Больше ничего. Разве что какой-нибудь будущий историк культуры по моим статьям попытается восстановить определенный социально-психологический тип определенной эпохи... Утешение незавидное, хотя все же... Все же шанс остаться... Стоп! Но я же еще не умер!.. Есть же еще идея жизни как калейдоскопа... Она, конечно, пока выглядит не очень научно, но, может, это мифопоэтический образ, только надо его развить, и научно, и художественно. Кроме меня, это покамест никому в голову не приходило. А у меня есть талант, знания и вкус, чтобы эту идею обработать. Только куда ее пристроить? У нас — покажется бессмыслицей. Слишком ни на что не похоже. Там — их тоже только политика интересует. Надо будет с Гришей посоветоваться. Вот и в отношениях с Гришей — типичный калейдоскоп. Были ближе близкого, дня раздельно не проводили, всем делились, самой затаенной мыслью, а потом вдруг что-то нарушилось, кто-то потрянул мой калейдоскоп, и Гриша выпал из рисунка моей ежедневно протекающей жизни, хотя не исчез из поля зрения, то есть узор изменился, но не очень. А ведь мог составить совсем иной.

И Лева тут в первый раз за все время, как пришла ему в голову идея калейдоскопа, вспомнил себя маленького и то, как дали ему трубочку, с одного конца имевшую стеклянное круглое окошко, а с другого — прикрытую матовым белым стеклом. Затем сказали, чтоб он приставил глаз к окошку и смотрел в трубочку. Маленький Лева посмотрел и ничего не увидел. Он всегда был тяжелодумом. Тогда ему сказали, что белым матовым стеклом надо трубочку направить к свету. Лева посмотрел и увидел узор из драгоценных камней: треугольник, взятый в кольцо. Он смотрел и боялся шелохнуться. Кто-то потрянул калейдоскоп, и рисунок вдруг изменился. Сначала Лева хотел разреветься, но новый узор был не хуже старого. И тогда Лева стал сам потряхивать трубочкой, восхищенно творя все новые и новые узоры из разноцветных драгоценных камней. Такое счастье продлилось несколько дней. А потом случилось то, о чем Лева не любил вспоминать. То ли по собственному любопытству, то ли по чьему-то совету, он отодрал крышку с белым матовым стеклом, надеясь получить в свои руки эти драгоценные камни и самому из них раскладывать узоры. Но там оказались не камни, а скучные, плохо отполированные разноцветные стеклышки. Больше у Левы в собственном владении калейдоскопа не бывало. Но, даже ставши большим и видя порой у детей своих приятелей эту трубочку, он не упускал случая прислониться глазом к маленькому круглому окошечку и, замерев на пару минут, посмотреть, как чередуются узоры. И если есть где-то Кто-то, то, может, для Него человеческая

жизнь, сплетение судеб человеческих не более чем узор в калейдоскопе, конечно, только гораздо более сложном. Поймав себя на последней мысли, Лева тряхнул головой: нет, о калейдоскопе надо писать всерьез, не прибегая к дешевым приемчикам современной фантастики, спекулирующей на идее Высшего существа.

Да и к тому же, как совместить идею калейдоскопа с идеей человеческого предназначения? Одно исключает другое. Если я к чему-либо предназначен, то меня нельзя перетряхивать, как узор в калейдоскопе, я ведь должен осуществляться. Этого я хочу от себя, этого и от Гриши требовал... У Гриши, помимо рукописей и книг, еще Борис есть, это тоже осуществление... Я это не понимал. Вот Верка, может, наконец сына родит. Но мне-то уже почти пятьдесят!.. Всегда думал, что дети мешают. И Ингу заставил аборт сделать, потому что делавшаяся в тот момент работа (а какая, он уже и забыл) казалась во много раз важнее, чем ребенок. А потом Инга уже не могла иметь детей. Их ведь предупреждали, что первый аборт вреден. Но Инга делала все, как он хотел, слушалась малейшего его слова. Фу, сколько он плохого и непоправимого натворил в своей жизни! А главное, что не с собой, а с другими людьми!

Лева почувствовал, как на лбу у него выступает пот. Он поднял глаза. Люди грудились к выходу.

— Какая сейчас остановка? — почему-то хриплым шепотом спросил он своего соседа, толстощекого полковника, сидевшего неподвижно и важно, как скифская баба.

— Площадь Маяковского, — ответил тот, не поворачивая головы, не снисходя до общения с расхристанным, несобраным, неподтянутым и, очевидно, закоренелым штатским.

— Извините, — вскочил Лева, подхватывая портфель. — Чуть не проехал. Разрешите пройти, — добавил он, видя, что сосед и не думает пошевелиться и пропустить его.

Лишь после этих слов тот медленно повернулся боком, выдвинув свои ноги из прохода, и Лева смог протиснуться. Влившись в толпу выходящих, он выскочил на улицу. Под жарким солнцем мимо театра имени Моссовета, под прохладные высокие своды зала имени Чайковского и в метро, там вниз по широкой и глубокой каменной лестнице, как спуск в какую-то карстовую пещеру, превращенную в своего рода музей со всеми удобствами. Дальше, разменяв двадцать копеек, получив четыре пятака. Лева один из них опустил в автомат, прошел контроль, и вот уже он на эскалаторе едет вниз. В метро люди почему-то делают спокойнее и цивилизованнее, заметил уже давно Лева, хотя, казалось бы, спускаются под землю, в чье-то неведомое чрево, и беззащитны перед землей. Но метрополитен чист, светел и надежен. Как это удалось — загнать все речушки, болотца, озера под камень и гранит! Но — удалось! Вот в Нью-Йорке, говорят, метро — это самое страшное место, где люди действительно отрезаны от цивилизации, там — это страшные разбойничьи пещеры, где орудуют банды подростков и негров. Только самые бедные и отчаянные там пользуются метро. Туда спускаться, наверно,

так же страшно, как подниматься в конан-дойлевский «затерянный мир», где жили доисторические жуткие животные, против которых человек бессилён. Хотя все-таки спускаться страшнее: почему-то кажется всегда, что чудища должны сохраняться под землей, в ее таинственных глубинах: порождения Геи, матери-земли, всегда были чудовищами. Древние греки это хорошо понимали — все эти сторукие великаны, тифоны, лернейские гидры, все из ее чрева вышли. Да и тут лет через двести, если метро устареет как транспорт, как средство передвижения, эти заброшенные, разветвленные шахты и подземелья в центре города наверняка станут пристанищем каких-нибудь хтонических чудовищ или хотя бы городских разбойников. Вот тебе и исторический калейдоскоп.

Лева втиснулся в подошедший вагон и, зажатый жаркими, потными телами, чувствуя горячее дыхание высокого мужика на своем затылке, глядя на полнотелую краснощекую девицу с прыщами или фурункулами (результат плохого обмена веществ в организме, к такой только спяну полезешь, с сожалением к девице констатировал Лева), он доехал до «Динамо», где с облегчением вывалился из переполненного вагона. Все-таки с похмелья было тяжело ездить в метро, да и вообще в духоте. Сердце как-то странно телепалось, то часто-часто колотилось, то вдруг даже приостанавливалось. Выйдя на улицу, Лева в киоске купил тем не менее пачку сигарет и спички, потому что разговор с Гришей мог потребовать этих мужских атрибутов общения, а у Лева не больше двух сигарет оставалось.

К Грише можно было ехать либо на автобусе, конечная которого была тут же, неподалеку от метро, либо на трамвае, до которого надо было пройти минут десять мимо стадиона. Но у трамвая были свои преимущества: он подъезжал ближе к Гришиному дому и днем бывал менее набит, чем автобус. Да и прогулка по свежему воздуху мне не повредит, решил Лева, хотя, конечно, лучшим бы лекарством было выпить сейчас сто грамм водочки, и сердце тут же бы отпустило. В этом смысле, и только в этом — в медицинском (так сам себе Лева сказал), он пожалел, что не пошел с приятелями в «стекляшку», но делать было нечего, не возвращаться же назад. И Лева, не торопясь, пытаясь глубоко дышать, двинулся вдоль решетчатой ограды стадиона.

Навстречу ему, деловито, тяжело дыша, совершая свою работу, бежали друг за другом в затылок спортсмены в импортных тренировочных костюмах и кроссовках «Adidas». Проходили мимо люди, одни к метро, другие из метро — эти обгоняли Лева, шедшего медленно, с опущенной по привычке головой. После дождя на асфальте стояли лужи. Спортсмены бежали, не глядя под ноги, и кроссовками разбрызгивали воду. В лужах, как видел Лева, копошились неизвестно откуда выползшие дождевые черви. Светило солнце, от луж поднимался пар, было жарко. Воздух был как в бане или закрытой ванной, но с добавлением запахов асфальта, размякшей и раскисшей земли, промытой дождем зелени листьев. Лева вдруг вспомнил свое детское ощущение оранжереи — тяжелый дух, на-

валивавшуюся там на все тело жаркую влажность, удушливый запах цветов, плававших в разогретых бассейнах. Самое время выползти каким-нибудь тропическим чудищам, думал Лева, стоя на трамвайной остановке. Но чудище не выползло, а подошел полупустой трамвай, и Лева с радостным чувством свободы выбора уселся на сиденье у окна.

Трамвай тронулся. Лева было обрадовался, что вот наконец последний вид транспорта и через двадцать минут он у Гриши, но тут же скучился и почувствовал, как в душу ему заползает хандра, потому что кроме Гриши, дорогого по-прежнему Гришеньки, там будет Аня, и с ней придется общаться не меньше, чем с Гришей, если не больше. А для нее Лева чуть было не стал злым гением, разрушившим ее жизнь. Как разрушил и жизнь Инги, вдруг с тоской и беспощадно сказал он себе. Как и Веркину жизнь, наверно, разрушу. Он вспомнил, как переживала Инга, что не может больше иметь ребенка, а он, кретин, радовался этому обстоятельству, что может спокойно заниматься любовью, не думая о последствиях, и что кричащий, орущий, писающийся и постоянно болеющий ребенок не будет отвлекать его *от работы, от дела*. А потом отношения с Ингой стали приедаться, уже и влечения такого он к ней не испытывал, как раньше, все чаще манкируя супружескими обязанностями. Он заводил любовниц, но оставить Ингу не решался, было совестно. Боялся лишиться Ингу своей особы. Как же, женщине плохо без мужчины, а без него особенно! Он же порядочный человек! Двадцать лет назад он

было ушел от Инги, чтоб целиком посвятить себя работе, год с ней не общался даже. Но она его дождалась и приняла, когда через год он приполз к ней в двухкомнатную квартирку у метро «Кировская», прося прощения. И еще семнадцать лет прожил с ней, постоянно чувствуя виноватую благодарность, что приняла, что простила за неудачный аборт, что отмывала его пьяного, грязного, когда его приносили друзья или случайные собутыльники, что всегда перед всеми отстаивала его интересы, защищала как раз порой перед теми, кто знал, что Лева ей изменяет и с кем изменяет. От этого тройне становилось нехорошо. И бросить эту одинокую, уже глубоко за сорок, так преданную ему женщину! Конечно же это подонство!

А как безобразен он бывал спяну!.. Уже из одной благодарности, что она это переносила, он не имел права ее бросать. Что он только не вытворял! Она не вспоминала, вспоминали приятели. То, что они наблюдали. Как он в командировке хватал за руки Тимашева, еле дотащившего его из ресторана до номера и уложившего на постель, и рычал: «Дорогая моя девочка! Ложись рядом!» И аналогичная история повторилась с Кирховым, едва запихавшим пьяного Леву в такси, чтоб отвезти домой. Они сидели на заднем сиденье, и он лапал Кирхова за колени, бормоча: «Дорогая моя девочка! Сейчас мы едем к тебе!» Ребята смеялись, что спяну Лева путает половые признаки и ненароком может мужеложством заняться. Что ни сцена приходила Леве на память, то она была кошмарнее предыдущей. Особенно почему-то

ужасными представлялись ему две истории, произошедшие у Саши Паладина.

Саша давно ушел от жены, оставив ей двухкомнатную квартиру. Но поскольку он был Сыном, то не прошло и некоторого времени, как он вне очереди получил комнату в малонаселенной коммунальной квартире у Рижского вокзала. Комната мигом была обставлена — добротной и тяжеловесно: во весь пол улегся толстый ковер, около окна встал тяжелый четырехугольный дубовый стол, на нем массивная высокая лампа не лампа, а целая колонна, под абажуром с фестончиками; у одной стенки два книжных шкафа впритирку друг к другу (что говорило о внимании к Сашиним интеллектуальным интересам), у другой стены — диван, а над ним грузинский серебряный рог (кем-то подаренный Сашину родителю и перешедший за ненадобностью к сыну), простенок у входа занимал сервант с хрустальными рюмками, посудой и постельным бельем в нижнем отделении. Рядом с сервантом стоял огромный холодильник «Ока», время от времени наполняемый Сашин мамой.

Стесняясь изобилия и материального довольства, не им созданного, Саша отдал комнату в распоряжение приятелей. И каких только пьянок и загулов тут не устраивали! Лихие, веселые, молодцеватые, бодрые, как гусары прежних времен (хотя порой и уланы, вспомнил Лева классическое противопоставление Скокова), они приходили, приносились в такси, врывались, вбегали, вползали, втискивались, вваливались, вламывались, входили, внедрялись в

Сашину комнату и приносили с собой; да, как правило, у всех с собой уже было — бутылки, колбаса, хлеб. Из рюмок, разумеется, не пили, пили либо из стаканов, либо из граненых маленьких и прочных лафитничков — ровно на пятьдесят грамм. Выпивали и смеялись над иностранцами, которые во всяких там западных романах заказывают двойной виски с содовой, делают это грубоватые, настоящие мужчины, а двойной виски — это всего-то навсего сорок грамм. И Кирхов обычно резюмировал: «Что русскому здорово, то немцу смерть!» И зачем собирались? А просто. Просто посидеть, пообщаться, потрепаться, выпить. Производство форм общения ради самого общения — высшая, самая бескорыстная форма человеческого общежития! Счастливые были времена. Но вот Саша женился, стеклышки в калейдоскопе переменились, у него больше не встречаются.

Хорошие времена, почти былинные; но были в этой комнатке и кошмарные провалы в постыдные глубины. Не щадя себя, Лева вспоминал, как отправился к Саше с одной из тех женщин, что вечно крутились вокруг журнала (Инга называла их «маркитантками», обслуживающими сотрудников журнала по потребностям). Там они выпили, Лева отрубился, а потом уже в семейных трусах до колен, с распатланными волосами, бессмысленной ухмылкой на лице (очки на столе), он то ковылял, то полз по ковру на четвереньках за девицей, протягивая к ней руки и бормоча: «Дорогая моя девочка! Сейчас тебе будет приятно!» А она, в одной комбинации, бегала от него и временами взвизгивала, когда

Леве удавалось зацепить ее за ногу. Впрочем, вспоминая он не то, что видел и помнил сам, он видел и вспоминал это как бы отраженно: то, как Саша рассказывал и представлял в лицах, наблюдая сцену со стороны (девица была при этом одной из Сашиных любовниц). Да, далеко не все женщины даже спяну соглашались лечь слевой («пень красивее его», вспомнил он слова жены Тимашева), поэтому так прикипел он душой и телом к двадцатилетней Верке, которая была младше его на целых двадцать два года, а при этом вроде бы и любила его. Снова представив бегущую от него долговязую девицу в комбинации и себя, ползущего за ней по ковру с протянутыми руками, Лева даже застонал от омерзения к себе.

Не чище была и вторая история. Как-то Лева встретился со своим бывшим однокурсником, ныне доктором наук, Мишей Вёдриным, таким же толстым и невысоким, как Лева, но с более оформившимся брюшком, выпирающим из брюк. Только если Лева носил свитера, то Миша Вёдрин имел пристрастие к водолазкам с искрой и костюмам красновато-фиолетового цвета. Женат он был дважды, с обеими женами развелся и жил сейчас со старушкой матерью в двухкомнатной квартире, а потому, как и Лева, в те поры страдал от отсутствия помещения, куда можно было бы водить баб. Они посидели в кафе, немного выпили, бутылку — не больше. Там же они познакомились с бабой, такой же толстой, как они сами, лет под пятьдесят или сразу за пятьдесят, в кудряшках и в очках. Предложили ей стакан портвейна, она лихо его хлопнула — и

понеслось. Лева бросился звонить Саше Паладину. Дозвонился, договорился, что тот на вечер уступит им комнату. По дороге баба уговорила их взять кроме бутылки портвейна (любимого напитка доктора наук) еще две бутылки имбирной. У Саши они выпили бутылку портвейна и принялись за имбирную (баба бабой, а выпивкой пренебречь они тоже не могли), а их собутыльница жаловалась им на свою незадачливую жизнь, рассказывала про сына-инвалида тридцати лет, которого женщины не балуют, если только она сама к нему не приведет и не заплатит из собственного кармана. Но когда Вёдрин полез ее лапаты и сдирать с толстых ляжек трусики, а Лева зарываться лицом в ее мясистую увядшую грудь, она вырвалась и сказала, что позволит им обоим, но что сначала она должна съездить к сыну и отвезти ему бутылку его любимой имбирной, что без этого ей будет беспокойно, а потом она конечно же вернется. Пьяные дураки ее отпустили, Дали бутылку, дали денег на такси, чтоб она скорее возвращалась, и принялись ее ждать, споря, кто будет из них первый, когда баба приедет назад. Разумеется, она не вернулась. Хорошо еще, что у Саши в холодильнике нашлась бутылка водки. Допить они, правда, не допили, потому что вдруг вповалку уснули на Сашином диване. Утром явился Саша, разбудил их, они снова выпили, и Саша затеял разговор о высоком, смеясь над их рассказом о чадолюбивой бабе. «Может, это для нас благо, что она ушла, — хихикая, говорил Лева. — Мы бы иначе, может, не нашли водки в холодильнике». — «Понима-

ешь, ты не прав, — отвечал Вёдрин. — Водку мы бы так или иначе нашли, но еще бы и бабу получили». — «Так что же, по-вашему, благо? Я что-то не понял, — сказал Саша. — Поначалу мне показалось, что вы стремились к высшему благу — к любви. Потом выясняется, что водка — это тоже благо. Стало быть, надо установить иерархию благ — на платоновский манер. И прежде всего, что вы вкладываете в понятие блага. Вот баба ваша явно решила, что имбирная — это высшее благо, потому и сбежала от вас. Хотя нет, — задумался Саша, — имбирную она повезла сыну-инвалиду, а значит, и для нее любовь оказалась высшим благом. Короче, ее благо оказалось сильнее вашего. И следовательно, надо разобраться, что есть ваше благо и в чем его неподлинность». Саша тоже был изрядно пьян и слегка косноязычен. Тут-то и произошла грандиозная драка из-за проблемы блага у Платона, дрались Лева и Миша Вёдрин. А началось все довольно интеллигентно. «Мы устроим диалог, — сказал Лева. — Я буду Сократ, а Вёдрин — Филеб, что значит любитель удовольствий». — «Ну в таком случае, — ответил Вёдрин. — ты не меньший Филеб, чем я». — «Хорошо, — согласился Лева. — Я буду Филеб, ты Сократ, а Саша — Платон. Он все потом резюмирует и опишет». Диалог их продолжался, однако, не очень долго. Уже через пять минут Лева всхлипывал от ярости, а Мишка Вёдрин все больше откидывался назад с высокомерной миной на лице. «Не-ет. — кричал Лева, — мы никто не способны достигнуть блага, потому что оно в любви истинной. А мы ее не имеем и ни-

когда не будем иметь, мы ее недостойны, потому что мы распутники, сволочи», — плакал пьяный Лева. «Все наоборот у Платона, — менторски пыхтел толстый Вёдрин и потрясал рукой со сложенными в щепоть пальцами. — Любовь есть стремление к обладанию благом, но не само благо. Почитай, если не читал. Это в «Пире» у Платона изложено». — «Школьные задья! — кричал Лева. — Асмуса повторяешь». — «Ну и что? — отвечал Вёдрин. — Это добротный философ-профессионал. И он прекрасно показал, что идея блага есть наивысшая идея у Платона: не идея истины, не идея прекрасного, а именно блага. Все остальные идеи подчиненные и стремятся к благу, все вещи стремятся достигнуть блага, хотя — в качестве чувственных вещей — не способны его достигнуть. Но счастье, как разъясняет Платон, состоит именно в обладании благом. Поэтому всякая душа стремится к благу, все делает ради блага, но достичь его не может. Вот в чем парадокс и противоречие человеческой жизни. Все-таки жаль, Лео, что ты ушел в журналистику и забыл самые азы философии». — «Я-то их не забыл! — завизжал Лева. — А ты вот дальше азов не двинулся». — «Мудак ты, — сказал Вёдрин. — Жалко мне тебя». — «Ах так!» — и Лева с размаху влепил пятерней по физиономии Вёдрины. Поскольку удар получился несильный, он еще в завершение царапнул оппонента по щеке, оставив плохо подстриженным ногтем кровавую полосу. В ответ доктор наук ударил Помадова по очкам. Очки упали на пол, но сначала даже не разбились на толстом и мягком

ковре. Зато из носа у Левы закапала кровь; мазнув себя по лицу и увидев кровь на руке, он испугался, на секунду замер, а затем с криком «Негодяй!» вцепился левой рукой в волосы бывшего однокурсника, правой стараясь ударить того в лицо. Мишка Вёдрин уклонился и сам сумел ухватить Леву за его жидкие волосенки одной рукой, другой отводя Левины удары. Неуклюжие, пузатые, они топтались друг против друга, пыхтя и не имея сил даже на сквернословие. Мимоходом, во время боевого топтания, они раздавили Левины очки, в горячке боя не заметив этого. Саше с большим трудом удалось растащить их и заставить в знак примирения выпить по рюмке водки. «Надо сказать, — ехидничал он впоследствии, пересказывая эту историю, — к сократическому диалогу наши друзья, несмотря на свое высшее образование, оказались не готовы». — «Да все водка проклятая», — говорил Вёдрин, махая рукой. А Тимашев добавлял, что у нас нет привычки к таким диалогам, потому что не было ни софистических, ни схоластических споров. «Ну и что, — говорил Саша Паладин, — спор разрешился в национальной традиции — хорошим мордобоем». Лева тогда думал, что они подрались, потому что ни у одного не было своей идеи, к которой хотели бы привести противника, только простая склока схоластическая, и Тимашев не прав. Сейчас, вспоминая эту драку и ее предысторию — с имбирной водкой и толстой бабой, Лева поражался омерзительности своего поведения, удивлялся, что этого никто не заметил.

Он чувствовал, как замирает сердце, а лицо пунцовеет от холодного ужаса, что после *такого* он мог испытывать праведный гнев против Инги (а теперь против Верки), в чем-то упрекать ее! А в чем? А в том, что она знаменитостей любит, приглашает в гости бывших Левиных приятелей, ныне авторов модных книг, статей и скандально-шумных диссертаций, в том, что Лева пилила за пьянку, приводила в пример друзей и однокурсников, говорила, что даже с Гришей он перестал общаться, потому что Гриша что-то делает, а он, Лева, нет, а потому и почва для общения пропала. А ведь все это было оттого, что на самом-то деле она гордилась им, верила в него. Ему уже потом, после его ухода, рассказывали, как в случае каких-либо споров она сразу говорила: «Надо у Левки спросить, он все знает, он объяснит». — «Он что у тебя, в самом деле все знает?» — удивленно спрашивали ее. «Почти все, — с гордостью отвечала она. — А мне так кажется, что совсем все». Она ведь любила меня, думал Лева, да и до сих пор привязана. За совместные годы она привыкла, что он — есть, что все же в возрасте, когда друзей становится все меньше, они друг для друга надежная опора. А как она с ним вместе выбирала ему костюмы, следила за ним, покупала рубашки, вязала свитера, вывязывая всевозможные сложные узоры! Как беспокоилась за него, когда его отправляли в дальние командировки, за его жизнь, за его здоровье! Как сама была нетребовательна по части всякого женского барахла, ничего на себя почти не тратила! И вот он бросил ее, она — оставлен-

ная жена!.. Это с ее-то гордостью и неустроенностью внутренней! Он вообразил ее маленькую фигурку, худенькие плечики, длинное серое шелковое платье, ее любимое, опущенную голову с пучком волос на затылке — облик курсистки, народоволки, женщины духовного служения, не думающей о быте, и снова проклял себя, свою распущенность, расхристанность, пьянство, плотоядность, неумение собраться, отсутствие внутренней дисциплины и даже хоть маленького фермента карьерности, чтоб твердо стоять на ногах. Лева вдруг быстро открыл портфель, сунул туда руку и вытащил тимашевскую книжку о Горе-Злочастье. И прочитал, со страхом, чуя душой сходство ситуации:

*Ино зло то Горе излукавилось,
во сне молодцу привидялось:*

«Откажи ты, молодец, невесте своей любимой —

быть тебе от невесты истравлену...»

Лева вспомнил злую шутку Кирхова, что Верка его подтравливает, с дрожью в руках и болью в глазах продолжая читать дальше:

*«...еще быть тебе от твоей жены удавлену,
из злата и сребра бысть убитому.
Ты поиди, молодец, на царев кабак,
не жали ты, пропивай свои животы,
а скинь ты платье гостинное,
надежи ты на себя гунку кабацкую,
кабаком то Горе избудетца,
да то злое злочастие останеца:*

*за нагим то Горе не погонитца,
да никто к нагому не привяжетца,
а нагому-босому шумить розбой».*

Действительно, Лева боялся своего «злата-серебра» — стеснялся своего умственного превосходства, своей начитанности, своей культуры, боялся, что его более малограмотные одноклассники, а потом однокурсники будут ему завидовать, хотел опроститься, да, именно это слово: «опроститься». А они теперь кандидаты и доктора, по-прежнему ходят к нему за советами, он переписывает по старой дружбе их статьи, но они возвращаются на свои уютные кафедры и в свои высоконаучные сектора, в теплые квартиры к обожающим их глупые головы женам, а он, Лева, пропив на второй уже день ползарплаты, едет куда-то в снятую комнатенку на Войковской, с чужой мебелью, чужой постелью, чужим бельем!..

Лева в испуге спрятал книжку на прежнее место и захлопнул портфель, оставившись в окне. Но дома, кусты, мелькавшие за окном, он не видел, он переживал. Как он любил в юности гусарство, удасть, быстроту и лихость загула и, напиваясь, казался себе таким же свободным, как лихие гусары, которые приходят во снах. И гитара!.. Но на гитаре играла и пела под нее тимашевская жена Элка, и это тоже раздражало Леву, усугубляло его неприязнь к Тимашеву: почему одному все, а другому и половины нет. У того и бабы, и веселая жена с гитарой, и статью нашумевшую о «профессорской культуре» написал, а Оля-машинистка небось ему еще и

бесплатно его опусы перепечатывает... Как он успевает все!.. Как эти гусары и купцы чего-то успевали!.. Ведь после загула приходит похмелье, а после похмелья новый загул... Когда же дело-то делать? Впрочем, воевать да торговать, наверно, особой усидчивости, тем более книжной, не требовало!.. Лева понурился.

А сколько гадостей с похмелья наделаешь, потом сто лет не расхлебаешь. — мысль Левина прыгала с предмета на предмет, подчиняясь не логике, а каким-то внутренним эмоциональным зацепкам и связям. Зачем Олю обидел? — калялся он. Высокая, стройная, темноволосая, с тонким лицом, длинными пальцами, она была рождена для лучшей доли. Кончила музыкальную школу, собиралась поступить в консерваторию (это Лева краем уха слышал), но пошла в машинистки. Почему? Ах да, отец умер, мать по инвалидности на пенсии, она поздний ребенок, пришлось идти зарабатывать — вот и попала по знакомству в редакцию. Хочется ей, конечно, замуж, под простыми, но искусно пошитыми платьями Лева сладострастно прозревал молодое плотное тело, но замуж никто не берет, прямо Лариса Огудалова из «Бесприданницы»... Да и вряд ли она найдет себе мужа среди женатых мужиков в редакции. Наверно, она и сама это понимает, на судьбу обижена, а любви хочется, вот и крутится возле Тимашева!.. А он, Лева, ну не сукин ли сын! Брякнул ей, что мужа она не найдет, то есть то, что ей хоть на время забыть хочется!.. «Какая же я гнусь, — думал Лева. — Старый уже мужик. Должен же быть понисходительнее, мудрее, не меряться не-

удачливой судьбой с молоденькой девчонкой и не срывать на ней своего раздражения. Ведь я же мужик, уж мог бы сам себя воспитать». Нет, все же у него и впрямь распадное интеллигентское сознание, да, интеллигентское, с самого детства чувство вины перед всеми, потому и пил, чтоб стать таким, как все, стыдился выделиться, выйти из ряда. Но что-то двусмысленное было в его чувстве вины.

Он вспомнил, как в детстве мать оставила ему рубль, на случай, если придет слесарь чинить кран на кухне, чтоб отдать ему. Слесарь пришел, кран починил, но рубль Лева ему не отдал, справедливо полагая, что от тринадцатилетнего мальчишки тот денег не ожидает. Рубль же Лева зажал на свои мелкие расходы. Вечером пришла мать со своим братом, Левиным дядей, у которого старшая дочка тоже в честь отчима была названа Леопольдиной (в семье девочку звали Полей). Дядя был директором большого кинотеатра, был толст, важен, грубоват и прямолинеен. Мать спросила, приходил ли слесарь и отдал ли ему Лева деньги. Зажимая деньги, Лева надеялся, что мать не задаст второго вопроса, потому что был не способен, не умел врать ни при каких обстоятельствах. Сейчас увидел он себя тогдашнего, маленького, дрожащего (он уже лежал в постели, укрытый мохнатым верблюжьим одеялом в белом пододеяльнике), увидел, как покраснел, похолодел, а потом сказал, из красного становясь бледным, что он забыл отдать рубль, потому что тот лежал на столе в комнате, а слесарь был на кухне, что, когда слесарь уже ушел,

он схватил рубль, чтоб его догнать, но не догнал, и теперь рубль лежит в кармане его штанов. Мелкая ложь! Но все же не такая страшная, как если бы он утаил деньги. Лева даже привскочил, сказал, что сейчас оденется и пойдет искать слесаря, чтоб отдать ему этот рубль. Начал даже рубашку надевать. Но мама поцеловала его и остановила, а дядя, видимо не поверив ни единому Левиному слову, неприязненно покосился на него и махнул рукой: «Ни к чему! Это все интеллигентские выкрутасы и самооправдания, игра на публику, чтобы другие тебя оправдали. Ты это дело брось, Леопольд! Это плохая привычка. Украл, — ну ладно, не украл, утаил, — утаил рубль, так хоть перед нами не выдуривайся, а главное, перед самим собой. А то — бежать, говорить, извиняться-извиваться. Лучше сразу делать правильно, а сделав неправильно, неправильное исправлять делом, а не словами!» Дядя был зло прав, и Лева влез снова под одеяло, съежился и дал себе слово поступать всегда так, чтоб потом не раскаиваться, во всяком случае не произносить потом горячих самообвинительных слов и не бить себя в грудь. Но всю жизнь только этим и занимался. Сначала делал и говорил гадости, а потом раскаивался и просил у обиженных прощенья. И все считали его при этом за порядочного, слабого, но в конечном счете нравственного человека, Лева от этого ненавидел себя еще сильнее.

За похмельным самобичеванием он чуть бы-ло не проехал нужной остановки. Но все же вовремя спохватился, выскочил. Огляделся. Уни-

кальный деревянный павильон — прибежище от дождя для ожидающих трамвай — с ложными колоннами, прикрепленными прямо к стене, стоял там же и так же, как двадцать пять лет назад. Лева посмотрел на часы. Половина третьего. Он пошел между кустами, разросшимися за годы, что он сюда не ходил, дорожка привела его к пятиэтажному — «профессорскому» — дому, где жил Гриша. Он обогнул его со двора, вошел в знакомый широкий подъезд и поднялся по давно знакомой и, как ни странно, не забытой широкой лестнице с каменными ступенями. Знакомая дверь была все так же обита дерматином, только наискосок по дермати-ну шел разрез — очевидно, работа пришедшей шпаны. Разрез был зашит суровой ниткой. Чувствуя тяжесть на душе от прошедших мыслей и противный, похмельный привкус во рту, Лева набрался духу (потому что немного боялся встречаться с Аней) и позвонил.

ДУШЕСПАСАТЕЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

После Левиного звонка в глубине квартиры слышались шаги, но направлялись они не к входной двери, а куда-то вбок. Потом из глубины, заглушенные, очевидно, дверями, донеслись малоразборчивые слова. Но открывать никто не шел. Лева подтянул брюки, проведя руками по своим выпирающим с обеих сторон толстым бокам, сожалея, что он в свитере, а не в пиджаке, хоть немного да прикрывшем бы его толстое, обвислое тело. Давно он тут не был. Он нервно зевнул, машинально прикрыв рот рукой, хотя никто не видел. К двери по-прежнему никто не подходил, словно бы и звонка не было. «Наверно, ругаются, — подумал Лева. — Выговаривает, небось, Грише, что он меня пригласил, — имени Ани Лева даже про себя не назвал сейчас от обиды. — Отвела его в комнату или на кухню и расшумелась-расшипелась, что-нибудь вроде: «Зачем его звал? Не тот момент! Сиди с ним сколько хочешь, но по возможности не в нашем доме! Опять появился этот пьяница и бездельник! Поведится ходить — я тогда уеду! Пусть он тебе семью заменит! Ладно, раз уж позвал, то открывай, но ненадолго! Я буду в своей комнате. Ко-

гда через полчаса выйду, чтоб его не было. Уж не знаю как. Сам зазвал, сам и выкручивайся!» Лева даже стало казаться, что он слышит эти слова.

Да, Лева понимал, что с тех пор, как он уговаривал Гришу развестись с женой, эта самая жена его плохо переносит. Ну и дура, это только подтверждает ее ограниченность, потому что лично против нее он ничего не имел... Он о Грише беспокоился и заботился, чтоб тот мог творить. Лева полагал, что рано или поздно они все равно разведутся. Опыт показывал, что интеллигенты меньше двух раз не женятся. Взять хотя бы его, Леву. Как раз тогда он ушел от своей второй жены, так он про себя в то время именовал Ингу. Время было тогда такое, не только для них с Гришей, для всех — время социальных надежд, пятьдесят пятый. Два года едва прошло после смерти сатрапа, а как все зашевелились и задвигались — работать надо было, я не в семейной кастрюле вариться. Лева вспомнил бесконечные истерические ссоры между Лидией Андреевной, Гришиной матерью, и Аней, какое-то изломанное письмо-исповедь, которое писал Гриша!.. Нет, он и впрямь тогда был в плохом состоянии, так что драв был Лева, стараясь его освободить от семейных склок, от домашних скандалов. Лева помнил и тот вечер, когда отнес Ане его письмо и убеждал ее своей волей дать Грише развод — из высших соображений, что творческому человеку нужна свобода. И почти получилось. Аня в ярости расколола фотопортрет свекрови после Левиного ухода из комнаты, а для Левы это оказалось

лишним аргументом, но тут, в тот же вечер (бывает же так, что в один вечер сходятся все противоречия и разрешения!) заболел десятилетний Борис, думали все, что не выживет. И Гриша, естественно, остался, вся Левина работа пошла прахом. Да, из-за ерунды, из-за несвоевременной болезни сына. А в дальнейшем поднять разговор на эту тему до такого накала Лева уже не удавалось. Конечно, конечно, Лева понимал, что и после ухода мужчины может вернуться — вот как он к Инге. Но это он теперь только понимал, а тогда такое соображение и в голову ему не приходило.

Лева вспомнил, как он вернулся к Инге, как они оба плакали, целовались и снова плакали, как клялся он, что всю жизнь проведет у ее колен, как они оба обещали друг другу быть вместе навсегда и снова плакали. Непонятно даже, кто первый начинал плакать, у обоих глаза были на мокром месте. Он ожидал, что она будет его отталкивать, прогонять, а она только покорно льнула к нему, и ее худенькое, маленькое, миниатюрное тело было безропотно в его руках. Вот только детей у них не получилось после дурацкого аборта, а теперь сына — он надеялся, что будет сын! — собирается ему родить Верка. И все равно — воспитать его сможет только Инга: в духе стремления к высокому, жизни во имя идеала. Нет, Верка тоже была интеллигентной женщиной, но более земной, простой, бытовой, что ли. Крепкотелая, полногрудая, страстная, она приковала к себе неудачника в любви Леву, но духовная, «астральная», как он сам говорил, связь у него оставалась с

Ингой. И как-то (выпив, разумеется) он стал убеждать беременную Верку, что, когда она родит и выкормит их сына, его необходимо будет отдать на воспитание Инге. Верка онемела и ничего не сказала, а Лева, уверенный, что она просто обдумывает его предложение и не может в результате не согласиться, потому что много резонов он привел за это решение, поехал убеждать Ингу. И гордая, независимая, одинокая Инга снова плакала, а он на сей раз не плакал, но с пьяной твердостью и настойчивостью требовал от нее согласия, напирая на то, что они были не только и не просто муж и жена, но еще и друзья, настоящие друзья, и друзьями навсегда останутся. Говорить такое покинутой женщине, да, это не слабо, думал Лева, обливаясь холодным потом при одном воспоминании об этой сцене. Инга совсем уже разрыдалась и указала ему на дверь. Лева вышел на холодную лестничную площадку, хотел было уйти, но пьяная спесь не позволила. Он позвонил, она не открыла, вот как сейчас прямо. Тогда он сел на лестничную ступеньку под дверью и принялся упорно ждать. Через большое время Инга успокоилась, умылась, открыла дверь и увидела его: он сидел у самой двери и спал, уткнув голову в колени. Она затащила его снова в квартиру, напоила горячим чаем и сказала, что согласна, если его нынешняя жена не возражает и отдаст сына. Конечно, не возражает, куражился Лева. А вся крохотная фигурка Инги дрожала от горя, боли и обиды. Лева стукнул себя кулаком по лбу, отгоняя видение, прогоняя эту картину из головы, потому что вспо-

минать все это было мучительно стыдно. Лева опять хотелось каяться, истово, со слезами. «Не согрешишь — не покаешься, не покаешься — прощен не будешь», как любил повторять один старый преподаватель древнерусской литературы, с которым Лева был шапочно знаком, потому что бегал с философского на интересовавшие его лекции по всему университету.

Лева снова нажал кнопку звонка. Снова прозвучал где-то в глубине злой шепот, потом шаги к двери, и щелкнул замок. Дверь открыл Гриша, не спрашивая, кто там, хотя всегда, как помнил Леопольд, спрашивал. Увидев Леву, он сделал шаг назад, словно все же надеялся увидеть другого человека, такое выражение было у него на лице. Затем качнулся вперед, словно не то собираясь прикрыть собой Леву от взглядов сзади себя, не то думая вытеснить его нажимом всего тела из дверей, но тут же отступил вбок и сказал:

— А, ты все же приехал? Я уж было подумал... — Он тут же перебил себя: — Понимаешь, Аня... — и добавил: — Да ты не стой у порога, проходи, проходи прямо ко мне в комнату. Там и посидим.

На его горбоносом, породистом и худом лице промелькнула растерянность, даже испуг какой-то, отягощенный недовольством собой.

Лева обидчиво пожал плечами.

— Не напрашивался, — соврал он, веря, что говорит правду. — Могу и уйти, если помешал.

И, зная, что Гриша примется сейчас лепетать что-то оправдательное, Лева динулся в комнату направо от входа, на которую Гриша

указывал рукой. Это была бывшая комната Лидии Андреевны. Так же во всю правую стенку от пола до потолка стояли четыре книжных стеллажа, тот же около них круглый стол, у окна, как и раньше (так, чтобы свет падал слева), находился письменный стол, только этот был поменьше, чем старый; за ним еще один книжный стеллаж, бельевик, тахта; между книжной стеной и дверью вместились старый платяной шкаф. Все то же, да не совсем то. Исчезли собрания сочинений Лысенко, Мичурина, материалы партконференций, задвинуты куда-то бесчисленные сборники архивов о партячейке в Юзовке: теперь стояли сочинения классиков художественной литературы, всякие там Бальзаки, Стендала и Толстые, пятнадцать томов С.М. Соловьева и десять томов его сына В.С. Соловьева, восемь томов Ключевского, четыре тома Покровского, трехтомник Костомарова, тридцатитомник Герцена, пятнадцать томов Чернышевского — короче, то, что называется «россикой».

Лева хотел было усесться за стол, в деревянное кресло (на столе стояла пишущая машинка с заправленной в нее страницей, какие-то напечатанные и писанные от руки листы бумаги лежали рядом, и Лева очень любопытно стало запустить в них глаз: что теперь пишет Гришенька?), но Гриша опередил его, сам сел за стол, чистую бумагу отодвинул, исписанную перевернул белой стороной вверх, а Лева указал на кресло, стоявшее перед столом у окна. Кресло было старинное, мягкое, с высокой спинкой, изгибающимися подлокотниками, в до-

ме Кузьминых его называли «вольтеровским», его подарили Лидии Андреевне ее друзья, какие-то старые большевики, бывшие с ней вместе в эмиграции. Это было ее кресло, а лет ему, наверно, не меньше ста. Лева уселся, сиденье мягко подалось вниз, голова Левы оказалась чуть выше стола, возникло неприятное ощущение, что Гриша *возвышается* над ним — не то чтобы судья, но какой-то более правильный. Лева всем телом вдруг почувствовал холодоватую отчужденность Гриши, в горле у него снова пересохло, словно вернулось похмельное утро, когда от сухости в глотке он слова не мог вымолвить. «Да, давно здесь не был. И зачем напросился? Гриша небось уже жалеет, что согласился на мой приезд». С чего-то надо было начинать разговор. А Лева по дороге, за своими размышлениями и самобичеваниями, совсем забыл, что там такое у Гриши случилось. Он попытался вспомнить, но мозги отказывались напрягаться. Лева сделал глотательное движение, оно у него не получилось, и он испугался.

— Слушай, ты мне стакан воды не дашь? — жалостно хрипнул он. — Извини. Набрался вчера. Знаешь, как иногда интеллигентного человека черт несет!..

— Сейчас принесу, — вместо слов сочувствия, соболезнования и сострадания коротко ответил Гриша. И Лева снова показалось, что он посмотрел на него как-то сверху. Как на пропащего, слегка высокомерно. Да и выходить ему, видимо, не хотелось: на кухне Аня наверняка чего-нибудь злое скажет. Когда дверь за Гришей закрылась. Лева потер себе лоб, пытаясь вс-

помнить: «Ах ты черт! Что же у них случилось? Надо же так глупо забыть! Фу-ты! Просто позор! И сам-то чего приехал? Что за неотложная срочность была? — Теперь, сидя в большом, уставленном книгами кабинете, Лева никак не находил оснований для своей просьбы во что бы то ни стало повидаться именно сегодня. — Сказать, что Главный меня не ценит, а Чухлов — скотина? Так Гриша про Чухлова и слыхом не слышал. Что мне хочется куда-то бежать, но что от себя не убежать?.. Ничего не скажешь, свежая мысль!.. Поведать идею калейдоскопа?.. Но, не сформулированная, она может показаться мелкой, пустой, неосновательной. Про крокодила?.. Но что, если и в самом деле это бред? У меня — бред, а у Гриши и в самом деле какие-то *настоящие* неприятности... Какие только? Позор! Уж лучше бы с ребятами в кабак пошел...»

Гриша принес стакан воды. Лева принял его, припал с жадностью, но пил с осторожностью, медленно, чтоб все во рту освежить. И полстакана на всякий случай не допил, зная, что вскоре горло опять пересохнет, а гонять Гришу за водой все время неудобно. Самому же ему, похоже, лучше на кухню не показываться. «Отчего только в дороге жажды не было?»

— Плохой я человек стал, Гриша, даже в медицинском смысле плохой, и, наверно, прежде всего в медицинском, — начал Лева, желая переползти к своей забывчивости, но не решился, сказал другое. — Пью, понимаешь, не могу остановиться. С кем попало пью. Затянуло меня

наше российское, восточное, интеллигентское, карамазовское, слабое. Не могу сказать «нет»!..

— А ты пробовал? — спросил Гриша тоном, близким к суховато-ироничному, но глаза были растерянные, не умел он быть жестким.

— Пробовал, — махнул рукой Лева. — Но ты же знаешь, старик, что российский интеллигент слаб по определению. Ему необходимо дружелюбие, единение. Я человек общественный, натура социальная, создан для форума как рыба для воды. А где ты видел у нас общественную жизнь? А? То-то. А водка сплывает, — но увидев иронически поднятые брови Гриши, страдальчески-недоуменное выражение его лица, торопливо добавил: — Я понимаю, конечно, что водка — это суррогат. Но ведь ты ж понимаешь, что дружеское общение заменяет нам социальную жизнь! Не на собраниях же мне юбилейную аллилуйю петь! Знаешь анекдот, как пьяницу поднимает милиционер: «Как тебя зовут?» — «Не знаю». — «Где живешь?» — «Не знаю». — «Где работаешь?» — «Не знаю». — «А год у нас какой?» — «Юбилейный». — Гриша усмехнулся. Лева, довольный, забормотал: — Вот так-то! Мы, Гришенька, если хочешь знать, устали от юбилеев. Это своего рода протест, мое пьянство, — после этих слов Лева внутренне немного приосанился и даже сам себе стал казаться благороднее.

Гриша снова поморщился, хотя и постарался это сделать незаметно, но не получилось, Лева заметил, сжался, а Гриша, не глядя на него, глядя в стол, сказал:

— А по-моему, ты уж не сердись, пьянствуя, вы тоже вполне выражаете все то же юбилейное сознание. Ликование неизвестно по какому поводу. И никакой это не протест, а распущенность — в помощь все тем же юбилеям.

Лева совсем не чувствовал в себе сил для спора, а потому сразу перебрался на жалостливый тон:

— Наверно, ты прав. Но я ж говорю, что российский интеллигент слаб по определению. Природа у него такая. Будь он даже из мусульман, как наш Шукуров Игорь, водка все равно всех перебарывает. А сколько было замыслов, планов! В этой самой комнате, помнишь, как мы тебя с Лидией Андреевной уговаривали заняться *делом*, уговаривали *писать*! Молодые были, наивные, двадцать с гаком лет — не шутка! Я тогда первый раз от Инги ушел. Мы уже шесть лет прожили, думалось — огромный срок, хватит. И не думал, что вернусь. И еще вместе сколько лет протрубим. А вот на тебе! Казалось, через двадцать лет будем если и не мировыми знаменитостями, великими учеными, то хотя бы в своей стране на первых ролях, определяющими духовную атмосферу... И что же? Едва заметная составная часть этой атмосферы, не больше, — с исповедальной навязчивостью бормотал быстро Лева. — Ничего-то из нас не вышло толкового. Как и из мушкетеров Дюма через двадцать лет. Кто чем был, тем и остался. Мелкие должности, написано преступно мало. Можно было по крайней мере в пять раз больше!.. Эх!

Гриша кивал головой, мрачней. И хотя Лева понимал, что по отношению к приятелю не совсем прав, а выходило по большому счету, что и прав. Но тот молчал, ничего не говорил.

— Ты вот, например, почему у нас не печатаешься? — ляпнул Лева, не подумав. Но тут же сообразил, что его тут вина, хоть вначале и пытался он привлечь Гришу, пару раз ему даже конъюнктурные темы предлагал, *нужные для журнала*, но Гриша тогда отказался, потом еще делал попытки Лева привлечь его с пользой для дела, но Гриша отнекивался, а собственные Гришины статьи не лежали в русле *нужных* тем, да и встречаться они с Гришей стали все реже и реже...

— Действительно, почему? — ответил вопросом Гриша.

Смущенно Лева затрепыхался, забормотал:

— Ты понимаешь, наш Главный губит журнал, приличных людей и статей не дает печатать, печатает только «нужников», ну, нужных ему людей — из начальства, академиков, цеховцев, набирает сотрудников себе под статью, а сам говорить правильно не умеет, честное слово! Ребята за ним все его словечки и выражения записывают: «Я делаю первый выбор», «о чем я призываю», «окрутить» и «проправить» — это значит «обвести» и «отредактировать». А его перл: «Учение о развитом социализме имеет все черты настоящей теории!» Короче, как говорит Райкин, главным редактором он в состоянии не быть. Помнишь, там у него был образ лектора Степы, у которого сила в словах была, только расставлял он их правильно не

умел. А недавняя фразочка, что «в журнале наблюдается небольшой прогресс вперед»! Или: «необходимо взвешенно оценивать»! Это же нарочно не придумаешь! А если не начальство печатает, то все равно нужников — всяких там Гамнюковых, Пустяковых, Лизоблюдовых! — Поскольку Гриша слушал молча, то Лева отпил еще глоток воды, желая хоть какой-то нейтральный жест сделать, чтобы, говоря словами Главного, «переломить ситуацию на позитивные рельсы». — Он себе в замы Чухлова взял, вопиющего хама, — продолжал Лева, — а старая гвардия уходит. Ушел из журнала Орешин, ушел Боб Юдин, говорят, Кирхов скоро уйдет, — сыпал Лева именами, которых Гриша наверняка не знал. Но так звучало убедительнее. Гриша все равно молчал. — И в семейной жизни сплошные неурядицы, — пожаловался Лева, не зная, что еще сказать.

— Так ты что, от Инги все-таки ушел? Мне говорили, что у тебя молодая жена. Или ты и с ней не ужился? — спросил Гриша. Вежливо, но как о ком-то постороннем.

Лева почему-то был уверен, что у Гриши с Аней жизнь по-прежнему немирная, но поскольку Гриша об этом молчал, то и говорить было нечего. Приходилось о себе говорить. Лева снова протянул руку к стакану, стоявшему на краю стола, подержал воду в пересохшем рту, даже прополоскал рот незаметно, хотелось и горло прополоскать, но постеснялся и только медленно-медленно проглотил воду, чтоб лилась долгой и тихой струйкой. Еще бы от одной кружки

пива он сейчас не отказался. Но надо было отвечать, и Лева сказал:

— Не знаю, как тебе и сказать... Ты сам подумай. Инга мне больше, чем жена, она товарищ, ты ведь ее знаешь. Но она не жена. Не могу я с ней. Понимаешь? Желание пропало. Я уж старался, но не могу, — говорить о себе было легко и приятно, а интимность темы придавала только остроту разговору. — Я перед ней, с ней — как с самим собой. Мои болячки, привычки, дурость — все она знает, все прощает. Я перед ней голенький и слабенький, как больной перед врачом или медсестрой, когда стыдиться не надо. Это важно. Это только годами совместной жизни дается. С Ингой все мое — мое. Я ведь на Ленке в двадцать один год женился, — шептал он громким шепотом. — До нее у меня женщин не было. Она у меня первая женщина была. Такое, брат, воспитание оранжерейное. Мы же интеллигенты, так нас воспитывают наши дурацкие родители, это мы потом распускаемся и до всяких безобразий доходим. Но я и после пяти месяцев с Ленкой был почти как нецелованный, и до Инги у меня снова женщин не было, то есть посчитай, да, до двадцати трех лет. Ты с нынешними-то сравни. Такие ли они? Сексуальная революция, она и у нас произошла. А я и после Ленки считал, что целовать девушку без любви нельзя, хотя и знал, что все так делают. Ты представь себе интеллигентного тихого студента, который пошел провожать девушку домой с вечера Назыма Хикмета, увлекшись разговором; в темноте он осмелел, да и девушка оказалась умницей, понравилась

ему, он и поцеловал ее на прощанье — ничего больше, клянусь тебе, ничего больше! Но она на поцелуй ответила, она меня, как выяснилось, давно отмечала, и я ей нравился, вот почему она меня тоже поцеловала. А вечером, вернувшись домой, а особенно наутро этот интеллигентный студент-недоросль считал, что обязан после поцелуя жениться, хотя даже не мог понять, нравится ли ему, как полагается, эта девушка или нет. А уж в том, что любви тут нет, он был уверен и потому терзался ужасно. Терзался таким пустяком! И это, заметь себе, после пяти месяцев семейной жизни, развода, двух холостяцких лет!.. Он потом снова с ней встретился. Думал, что как-то загладит свой *проступок*, извинится. Он даже не понимал, что женщин такие встречи только больше разогревают, лучше было б, если хотел порвать, вовсе не встречаться. А она и не сердилась, оказалась такая хорошая, добрая, умная, жалко ее. Вот так он и женился. Полюбил только потом. Да и полюбил ли? Может, привязался только? А привязанность — вещь не менее сильная, чем любовь. Может, и более. Да, все правда, так я и женился на Инге.. Ты не знал?

— Не знал, — ответил Гриша. — Не знал. — Глаза его помягчели, увлажнились, проскользнуло в них сочувствие. — Ты же хороший, Левка, редкого ума человек был и есть! Зачем себя губишь? Зачем пьешь?

Лева знал, что у Гриши бывают такие восклицания искренней душевной сентиментальности, это отличало его от многих. И у самого Левки бывало это странное российское желание

умилиться и все разом забыть и простить, но теперь такое состояние приходило чаще спяну, было просто-напросто другой стороной «*помадовщины*»... Ведь вроде бы то же чувство, ан совсем не то. Раньше он умилялся *чисто, светло*, потому что верил своим мечтам, в свое будущее... Университетские все же годы! Бежали с Гришей на диспуты, концерты, лекции, бродили ночной Москвой, трепались, говорили, обсуждали, переживали, толковали на все лады каждое событие... И все это в памяти связывалось с песней юности и надежды: «Друзья, люблю я Ленинские горы, там хорошо рассвет встречать вдвоем...» Университет на Ленгорах еще только строился, но почему-то, хотя спроектирован был еще в предыдущее время, казался символом обновления всей жизни. Было это, было.

— Гришенька, голубчик, думаешь, я не понимаю? Я больше скажу. От этого и духовные ценности девальвируются. Распад культуры происходит. Есть у нас в редакции местный остряк, Илья Тимашев. Ты его, может, знаешь, читал статью о «профессорской культуре»? При этом, как мне кажется, весьма малосимпатичный тип. Не удивлюсь, если он и еще где работает. Слишком смело порой высказывается. Так вот он тем не менее как-то хороший анекдот рассказал. Идет по улице пьяный. Видит — стоит памятник. «Кому?» — спрашивает. «Великому русскому писателю Чехову», — отвечают прохожие. «А-а, — бормочет пьяный, — это который "Муму" написал!..» — «Да нет, — говорят. — "Муму" Тургенев написал». Тут пьяный взры-

вается: «Вот всегда у нас так! "Муму" написал Тургенев, а памятник Чехову поставили!» Потрясающий анекдот, верно? Во-первых, кроме «Муму», выговорить и вспомнить ничего из русской культуры мы не в состоянии, а во-вторых, и в самом деле забыли, кто что сделал. Все как в тумане. Честно говорю тебе: сколько раз пробовал остановиться, слово себе давал, Инге давал, но не сдерживал, ничего не получалось. А знаешь, как на тебя женщина начинает смотреть, когда ты ей раз за разом обещаешь, а не держишь слова? Как на жалкого слабака! Ты и сам так на себя начинаешь смотреть! Все надеюсь, что вот Верка родит — брошу пить, завяжу. Тогда ответственность появится, особенно если сын будет.

— А перед самим собой ответственности недостаточно?

— Гришенька, это ты мне мои слова двадцатилетней давности возвращаешь!.. Я тогда тебе тоже все об ответственности перед самим собой говорил, говорил, чтоб ты бросил все и занялся наукой. А ты все на сына, на Бориса кивал, что не можешь его оставить, что у тебя перед ним ответственность есть. Вот я себя проиграл, потому что не о ком заботиться было, а ты все же хоть кое-как, а держишься. Ну извини, старик, может и не кое-как, а как следует, не в этом дело. А в том, что я тоже хочу воскреснуть, остаться на земле хоть как-то, сын мне поможет.

— Я не знаю твою Верку, — Гриша произнес эти слова медленнее. — Я знал, что ты Ингу оставил, но про Верку знаю только, что она

есть. Давно, однако, мы с тобой не виделись. И кто она?

Вопроса этого Лева, не признаваясь себе, все же почему-то боялся. Ребята знали Верку, видели Левку каждый день, его жизнь, его эволюция, его связи и поступки были им понятны без объяснений, а Грише слишком надо много объяснять. «У него моя жизнь не очень-то перетряхнута, — думал Лева, — в его калейдоскопе. И это очень хорошо. Я там все еще присутствую, пусть слегка меня очертания — от близкого друга до почти бывшего друга. И надо сделать так, чтоб там остаться, с другой женой, но остаться. Нет ничего страшнее, если перетряхнут калейдоскоп твоей жизни, и ты куда-то вывалишься».

— Верка? Она очень хорошая. Тебе что, ее социальный статус? Ну невысок. Среднее образование, работает машинисткой. Но в этом разве дело? Разве дело в образовании? Понимаешь, она умная, красивая, добрая, почти как Инга, и, самое главное, она тоже своя. Это ведь самое главное! Ты согласен? Есть и еще, чего мне в Инге не хватало, старик, а это очень важно, то, что я сейчас скажу, без этого мужчины с женщиной не жить, это даже не постель, хотя постель очень важна, чего скрывать, но это важнее: она меня *уважает* и *почитает*, я для нее нечто *значу*, не просто как мужик, а как *выдающаяся фигура*. Она с такими раньше не сталкивалась, это лестно, старик, это приятно, это надо, чтоб тебя в твоей семье уважали. А Инга за долгие годы потеряла веру в меня, перестала уважать. А это силы отнимает, вера же

в тебя силы придает. Ты извини, что я так все вываливаю, мне давно хотелось с тобой поговорить, исповедаться, что ли... Исповедь возникла же не случайно. Она душу очищает, спасает, лечит. Исповеднику, конечно, тяжело чужую грязь видеть. — Лева выпил снова глоток воды, но скорее автоматически, потому что, не смотря на длинный разговор, сухость в горле и жажда прошли.

— То есть, — перебил его Гриша. — ты хочешь сказать, что в вашем разводе виновата Инга?

— Не так прямо, Гришенька, не так прямо. Вон у тебя Владимир Соловьев на полке стоит. Там стихи его есть? Ну, неважно. Инга все любила повторять его строчки. Это она говорила, что человек сам творец своего несчастья. Я согласен с ней. Каждый сам в своей жизни виноват, это понятно ведь. Она обычно цитировала из Соловьева вот что. Стихи, правда, шуточные, но ничего.

— Да ты прочти лучше, чем рассуждать.

— Читаю. Если, конечно, правильно помню:

Своей судьбы родила крокодила

Ты здесь сама.

Пусть в небесах горят паникадила —

В могиле тьма.

Понял? Каждый человек рождает крокодила своей судьбы... — на этих словах Лева поперхнулся и замер, уставившись на Гришу. Перед глазами всплыла в мутном таком ракурсе вечерашняя длинномордая высокая фигура, вечерашний кошмар, но все-таки одно дело стихи и

рассуждения, другое — реальность жизни. Да и ребята его утром успокоили, посмеялись.

— Ты чего? — спросил Гриша. — Призрак увидал?

— Х-хе, — тоном Кирхова попытался ответить Лева, то есть тоном, как казалось ему, выражающим абсолютное презрение к вопросу и абсолютную же независимость (интонациям Кирхова многие подражали в их конторе). — Не говори чушь! — И тут он почувствовал такой позыв к мочеиспусканию, что, чудилось, еще секунда и разорвет мочевого пузыря. «Пиво проклятое», — подумал Лева. — Ты извини, — вскочил он. — Мне надо... надо выйти.

— Куда? — не понял Гриша.

— В туалет. Надеюсь, он у вас на том же месте?

— Разумеется. У нас все на том же месте, — в ответе был намек на Левин так и не разыгранный как следует вопрос о Гришиной жизни. — Ты географию квартиры помнишь?

— Угу. — Приплясывая, Лева выскочил в коридор, бросив мимоходом: — Надеюсь, Аня меня по дороге не съест?

В коридоре никого не было. Лева быстро прошмыгнул мимо деревянных полок с журналами и книгами, занимавших все коридорные стены, и тоже — от пола до потолка. Ему показалось даже, что добежать не успеет. Но успел. Выйдя оттуда и чувствуя огромное облегчение, способность воспринимать окружающий мир, он услышал движение и шепуршание в Аниной комнате: похоже, что она куда-то собиралась или чего-то делала. И тут Лева вспомнил, что

Гриша ведь говорил ему, что с Аниными родственниками, или нет, с одним из родственников что-то случилось. Но что? Надо было скорее пройти к Грише в кабинет, спросить, в чем у них дело, пока ненароком не вышла Аня. Однако не удалось. Дверь Аниной комнаты открылась, на пороге стояла Аня. За двадцать-то лет она погрузнела, потучнела, хотя и не сильно, носила очки, по-прежнему делала себе перманентную завивку, чтоб волосы кучерявились, и по-прежнему взгляд, обращенный на Леву, был суров и неласков. Хотя было в нем сейчас некое ожидание.

— Здравствуй, Анечка, — пробормотал, согнувшись, Лева.

— А ты руки после туалета теперь не моешь? — явно она хотела что-то другое спросить, эта фраза вылетела от раздражения, это Лева почувствовал.

— Мою. Я туда и шел. — Он метнулся в ванную комнату и через минуту уже снова стоял перед Аней.

— Ну и что скажешь? — Тон ее стал мягче, отчасти даже виноватый, а лицо было почему-то белое, ни одной живой черточки.

— По поводу?.. — переспросил Лева, не среагировав и сразу, и оторопел, увидев, как отшатнулась от него Аня, с недоумением и возмущением во взгляде.

— То есть ты имеешь в виду тот вопрос, по поводу которого мне по телефону говорил Гриша? — неуклюже завертелся Лева, переминаясь с ноги на ногу и пятясь к Гришиному кабинету.

— Если *это* ты называешь «вопросом», то говорить нам с тобой, конечно, не о чем! — запунцовела вдруг разом Аня. До этого она казалась старше Гриши, старее даже, а теперь снова помолодела. — Где Гриша? Гри-ша! — позвала она, сжав на груди руки.

— Ты держишь на меня зло и не любишь меня. Я понимаю, — сказал Лева самым гадским и оскорбительным своим голосом, который он всегда выпускал, когда попадал в безвыходное положение и собирался прибегнуть к хамству. — У нас с тобой старые счеты.

— Лева, остановись! — крикнул подошедший сзади Гриша, хватая его за плечо.

— Ничего, Гришенька, родной!.. Я молчу. Просто Ане не нравится, что я пришел к вам в дом. Боже мой! Да я сейчас уйду. Пожалуйста, — он видел, что лицо у Ани стало в тон ее ярко-красному байковому халату, тонкие губы плотно сжались.

— Ребята! Лева! Аня! Остановитесь! Вы что! — говорил, а то даже и восклицал миролюбивый Гриша. — Как вам не стыдно! Такой день сегодня грустный, тяжелый! Надо всем вместе быть и не ссориться. Жизнь слишком коротка, чтоб ее на такое тратить. Пошли все на кухню. Это даже хорошо, что Лева приехал. Мы же с тобой, Анечка, об этом говорили уже. В такой ситуации мужчина всегда может понадобиться, хотя бы гроб нести или венки...

— Мужчина, может быть... — сказала Аня презрительным, но тихим голосом, приоткрывая дверь в свою комнату. — Я пошла собираться. Тебе тоже пора, если, конечно, ты хочешь со

мной ехать. Можешь в конце концов и со своим другом остаться. Вам наверняка есть о чем поговорить... Но *об этом* я тебе говорить запрещаю. Это меня касается. — И она закрыла за собой дверь.

«Так и не простила, — подумал Лева. — Все же ограниченность и злопамятность женского ума поразительны».

Он повернулся к Грише. Тот стоял понурившись и задумавшись.

Как только еще в разговоре с Аней Гриша помянул о венках и гробе, Лева сразу вспомнил то, что говорил ему Гриша по телефону, о Горе-Злочастье, которое явилось к Аниным родственникам, об Анином погибшем племяннике, иными словами, думал он, ему пофартило, повезло, что не пришлось сознаваться в своей забывчивости, теперь надо только делать вид, что он и раньше помнил, и упрек может быть только один — в грубости сердца, в невнимательности, в эгоизме. Неприятно, но перенести почему-то легче, чем упрек в забывчивости. И Лева забормотал:

— Прости, старик, собственная жизнь замучила, Поэтому вместо того, чтоб Аню отвлечь или развлечь, я, похоже, только усугубил. Ты расскажи, что там случилось, какой совет от меня надо, я постараюсь, может, чего в голову и придет.

— Пойдем в комнату, я буду переодеваться, — ответил сумрачно приятель. Все же его угнетала размолвка с женой, Лева это видел.

Они вернулись в Гришин кабинет. По тому, как, насупился Гриша, Лева понял, что рассказывать он ничего не будет.

Лева тоже насупился: что он, хуже всех, что ли?! Он хотел всего ничего — исповедаться, поплакаться, о душе поговорить и тем самым от скверны очиститься. К кому же и пойти было, как не к самому старому другу, которого хранишь на дне души на крайний, последний случай?! И вот он чувствовал нараставшее Гришино отчуждение, и это было ужасно, потому что сам был в этом виноват. Внес лишнее напряжение и фальшь в дом, где и без того все непросто. И вся ситуация стала невозможной. Аня небось и так с трудом перенесла его приезд, но смирилась, понадеявшись, что он, Лева, посоветует что-нибудь, посочувствует хотя бы. А он только о себе и помнил. Грише первому говорить было неловко: он дал Лева излиться. А теперь в дело встряла Аня, обиделась, видите ли, а Гриша как был подкаблучником, так им и остался, — зло думал Лева.

Лева исподлобья смотрел, сидя на диване, как Гриша достает из шкафа старый черный костюм: по фасону видно было, что костюм еще Гришиного отца-профессора. Потом Гриша на секунду повернулся к нему, и Лева с раскаянием увидел на его лице боль и сразу вспомнил, что Гриша всегда мучился и просто физически уставал от фальшивых ситуаций. Лева понимал, что это от возникшей дисгармонии при столкновении душ, разнотонно настроенных. Жена просила не рассказывать, друг назойливо просит рассказать, думал о себе в третьем лице Лева,

— ситуация безмерно дурацкая. При первых звуках фальши Гриша и всегда-то съеживался как мимоза, а сегодня что-то уж особенно. Лева заметил выражение мешковатой смущенности и искусственно натянутой улыбки на его дрожащих губах. Следующий этап, если нескладница будет расти, как несложно было догадаться, — улыбка уйдет, он потускнеет и вообще окаменеет. Тут бы и уйти, но это Лева казалось сейчас унизительным. И он остался сидеть, упрямо-выжидаяще глядя на Гришу.

— Ну что ты смотришь? — вдруг раздраженно сорвался Гриша. Это его раздражение Лева чувствовал каждой клеточкой тела и души. — Помочь все равно не сможешь. Любопытство гложет? Тогда изволь!..

Лева хотел было обидеться на эти слова, но то, что рассказал ему Гриша, а потом добавила подошедшая и слегка успокоившаяся Аня, привело его в оцепенение. Человек — ничтожная пылинка, игралище бессмысленной судьбы, думал Лева, слушая рассказ. А может, и не бессмысленной, но земным умом этого не понять. Может, Инга права, что человек всегда сам творец своего несчастья. А ведь и он, Лева, человек, значит, и с ним может нечто подобное случиться в любой день. И как предотвратить?

Гриша рассказал, что Анин племянник Андрейка, двадцативосьмилетний парень, второй раз женатый («Как и я», — отметил про себя Лева), инженер, вполне прилично зарабатывал, от первого брака одна дочка, от второго — две, пошел позавчера с приятелями купаться на пруды у Ждановского метро, их почему-то назы-

вают «отстойники», при этом, наверно, подвыпил, нырнул и головой в тине увяз, ногами подрыгал, а пока все смеялись, он и захлебнулся. Это вечером сообщила по телефону его жена.

— Откуда ж такие болотистые пруды в Москве? — только и спросил Лева.

— «Москва» — значит болотистая, с древнебалтийского, — сказал сухо Гриша. — Здесь же раньше древние балты и угро-финны жили. Все величие наших с тобой предков в том, что на месте болот построили великий город, Белокаменную. Но топь-то осталась. Не все еще цивилизовано. Да не в том дело.

Действительно, как рассказал он дальше, затем началось нечто странное. Выяснилось, что принесли Андрея посторонние якобы люди, приятели куда-то исчезли. Хотя откуда посторонние узнали его адрес? Какие приятели приходили к нему в гости, никто не видел. Жена с младшей дочкой была в поликлинике, а старшая почему-то весь день проспала, никого не помнит, кто и приходил. Потом его мать, Анина сестра Серафима, вспомнила, что и вообще Андрейка не любил в незнакомых местах купаться, потому что плавать не умел. Тут все заговорили, что компания, с которой он последнее время являлся, была какая-то нехорошая: карты ночами напролет, какая-то мелкая спекуляция, стали подозревать убийство, допытываться у жены, что у них были за приятели. Та вначале отнекивалась, что, мол, не знает, а потом вдруг сказала, что обнаружила Андрейкино предсмертное письмо, в котором он сообщает, что покончит жизнь самоубийством. «Было ли что

или не было, — сумрачно произнес сентенцию Гриша, — никто сейчас доказать не может, но игры с темной силой до добра не доводят».

— А чего сомневаться — все было, — слышался вдруг от двери Анин голос. — Не мог он с собой покончить: мамсик был всегда. Это, конечно, Сима его разбаловала. Но ее можно понять. У мальчишки в пять лет нашли порок сердца. И она его на себе с пятого этажа на улицу, а с улицы на пятый этаж на закорках таскала. А потом уж, естественно, всячески оберегала, лучшие куски в тарелку подкладывала, всем похуже, ему получше, старший его брат Вита был в большом из-за этого загоне, но очень уж добродушный парень, нисколько не сердился. Хотя, как мне кажется, Андрейка хоть и был мамин баловень, которому многое позволено, но он как-то и для себя, и не для себя жил. Он, знаешь, Лева, был из тех, что норовят, что называется, «все в дом». А дом там, где жена и дети. Все для них, не для родителей, не для брата, да и не для первой жены с дочкой. Сима говорит, что с компанией он какой-то связался, в карты играл. Ну и что? Ну не в карты же он себя проиграл. Чушь какая-то. Проиграл, а проигрыш означает самоубийство, так, что ли? И совсем странно, как все это произошло. С работы ушел рано. В два часа зашел к родителям, пообедал, он любил вкусно поесть, а жена, видимо, не очень-то готовила. Был веселый, как всегда ласковый, в три пошел домой. Сима ему с собой еще здоровенную треску упаковала. Он ее взял, в авоську сунул. Настоящий семьянин. Все в дом. А в полшестого или в шесть уже по-

звонила его вторая жена Людмила (первую, кстати, так же звали) и сказала, что Андрей утонул.

Лева обернулся, внутренне обрадованный, что с ним разговаривают, к нему обращаются. На пороге комнаты стояла Аня в черном платье, черном платке. Она не могла, как и надо было ожидать от женщины, не интересоваться разговором, который ее затрагивал. А Лева во все время рассказа продолжал испытывать цепнящий, непонятно от чего берущийся ужас. Люди, которые заставляют проигравшего топиться, люди, играющие в карты на жизнь, были из запретного, маргинального мира, с которым Лева хотя и ходил обок, но никогда, в сущности, не соприкасался и старался не думать о его существовании. Ведь то, о чем не мыслишь, как бы не существует. Ему бывало не по себе даже от ночных криков, хохота и ругани, доносившихся сквозь зарешеченное окно в его комнатке на Войковской (на окно поставила решетку сдавшая Лева комнату хозяйка — все-таки первый этаж; правда, она рассказывала, что какую-то ее шаль даже сквозь решетку удочкой подцепили и выкрали). Но это стрезва. Спать он как бы вступал в другое измерение, ему любое болото было по колено. Сейчас Лева был скорее трезв, чем пьян, и ему было страшно.

— Ты б ее видел, — добавила Аня, — худенькая, тощая, как ящерица или болотная змея какая, глаза как у... у... какого-то зверя, чужие, недобрые. А голос приветливый, даже ласковый, просто мороз по коже. Она себе чистое алиби устроила. Муж утонул, а ее дома в этот

момент не было, не знала даже, что он купаться ушел. Так разве бывает? И дочка не знала, спала, не видела, приходил ли кто к отцу. Я говорила Коле, что у девочки надо кровь взять на анализ, анализ на снотворное. Теперь они время, конечно, упустили. Я думаю, она старшей снотворное вкатила, с младшей ушла, а кому-то свои ключи передала. Они пришли, бандиты эти. Уж что они с ним делали — не знаю. А потом с собой увели. Я не верю, чтоб Андрейка сам утонул. Кто-то над ним это сделал. Письмо заставили написать, а потом убили.

— И что там? — неуклюже подскочил к Ане, тряся своим толстым боком, Лева. — Предсмертное письмо?! И что, что там?..

Почему-то его ужасно взволновало возможное содержание письма. Как завеса из другого мира приоткрылась. Ключ, ключ ко всему!..

— Гриша, ты помнишь точно? — спросила Аня. — Ну да я сама помню. "Дорогие мама и папа". Так он начал, — пояснила она. — "Люся..." Потом это слово зачеркнуто. "Людмила ни в чем не виновата. Ее ни в чем не вините. Я уйду из жизни по своей воле. Не ищите никого ради своих внушек. Я сам так решил. Никого не вините. Побеспокойтесь о Людмиле и внучках". И никакой подписи.

— А почерк его? — почти выкрикнул Лева.

— Его. И Коля, и Сима признали его руку.

— И после такого письма вы думаете, что это самоубийство?! — завопил Лева. — «Не ищите никого ради внушек!»! Да это же прямое указание, что надо искать!

— Экспертиза признала отсутствие насилия,
— глухо и устало проговорила Аня.

— А письмо все-таки странное, — сказал Гриша, тиская рукой подбородок. — Словно под угрозой чего-то написано. Но чем они ему могли угрожать, кроме смерти? А ведь на смерть он, судя по письму, готов. Значит, чем-то более страшным.

— Могли угрожать убить жену, детей, пытаться детей! — предположил Лева и вдруг невольно сам поверил в свое предположение и с замиранием сердца, но живо представил себе компанию глумливых молодых насильников и убийц, которые угрожают несчастному отцу то убить детей, то приставляют нож к его собственному горлу, то к телу спящей глубоко беспмятным сном пятилетней девочки, пока не вынуждают написать под диктовку предсмертные слова, выгораживающие убийцу, реальную убийцу — собственную жену жертвы. А то, что нет подписи? Это или знак, который он родным оставил, что не сам писал, раз не подписался, или еще страшнее: может, кто из убийц, одурев от беззащитности жертвы и собственной безнаказанности, потащил его на пруд, не дав дописать письмо. Лева почувствовал, вообразив все это, что сам обессилевает от ужаса, как жертва, лишаясь всякой способности к сопротивлению. «Но Гришу-то, мыслителя, почему эта посторонняя смерть так волнует. Он же не общался с покойным, да и с родней его тоже не очень-то. Небось из-за жены!..» — вдруг зло и холодно подумал Лева и посмотрел на нее.

Аня, понуриив голову, так и стояла у порога:

— Кажется, что угодно можно пережить, чем такое. Особенно матери. Для любой матери лучше, чтоб с ней все это произошло, чем с сыном. Почему ж ей не думать, что невестка сгубила сына? Раз не сумела защитить, значит, сгубила. Тем более что и подозрения есть серьезные, — она говорила, а Лева про себя отметил, что у Ани так и остались просторечные интонации в речи, которые он помнил еще с разговоров двадцатилетней давности. — Мало ли какие в этой шайке были правила?! У этой Людмилки и татуировка, накладка, как она называла, на руке есть. Она не случайно все в платье с длинными рукавами ходит. Сима вначале даже умилялась: вот, дескать, девочка стесняется школьной глупости. А кто это в школе татуировки делает! — об этом и не подумала. Лагерная она или просто блатная. Теперь Сима думает, что Андрейка или в карты много денег проиграл, а расплатиться не сумел, или чего хотел об этой компании рассказать куда надо, жене признался, а она этим и донесла.

— Да, второе похоже на правду, — сказал Гриша, а Лева понял, что он не только из-за Ани, а и в самом деле огорчен и принимает случившееся близко к сердцу, и что все варианты уже не раз были здесь обсуждены, и что в его присутствии просто уточняются оттенки в надежде, что вдруг что-то упущенное вспомнится и прояснится.

— Человек, который собирается покончить самоубийством, — продолжал в который раз, видимо, перемалывать это соображение Гриша, — не идет спокойно к матери обедать, не

берет домой треску... Этот предсмертный визит в родительский дом как раз и наводит на самые большие сомнения!.. Но чтоб жена!.. Мужа, отца двоих детей, кормильца, в конце концов! Мужика, которого с таким трудом отбила у первой жены... Если это все же так, значит, какие-то глубинные недра всколыхнулись, чтоб такая нечисть на поверхность вылезла, какие-то безжалостные доисторические твари, холодно-кровные пресмыкающиеся!..

Они говорили, а Лева чувствовал, как по спине катится пот, холодный, липкий. Вот так уйдешь из жизни, и ничего про тебя, кроме разговоров, как ушел, как дуба врезал или сандалии откинул.

— Вот что значит выйти из своей колеи, — не очень впад разговор, но выговаривая собственные страхи, выпалил Лева. — Мы уже немолодые, а все не можем понять, что слова: «связался с дурной компанией», «не нашего круга» — очень точные слова. Нельзя попадать в чужой круг. Нельзя, чтоб в твоём калейдоскопе или калейдоскопе твоих друзей менялся узор жизни.

Гриша посмотрел на него вопросительно и с любопытством при словах о калейдоскопе, но Аня оборвала его речь:

— Ладно, хватит разговоры разговаривать. Нас к четверем ждут, а сейчас без десяти четыре. Я одна пошла.

Одетый, как и положено, в черный костюм Гриша заторопился:

— Я иду, я уже иду.

— Я тоже с вами поеду, я тоже, — засуетился и Лева, опасаясь, что сейчас будет унижение: давай, дружок, езжай домой, тебя не возьмем, это внутрисемейное дело. А что дома делать? — Я все же Симу с Колей знал, — добавил Лева быстро. Костюм его, правда, оставлял желать лучшего: свитер и брюки с бахромой. «Хорошо ли мое чадо в драгих портах? А в драгих портах чаду и цены нет», — вспомнил он неожиданно строчки из «Горя-Злочастья», мелькнувшие сегодня перед глазами. «Что за черт! Привязалась ко мне эта фигня! Подумаешь, пьянство! Тоже мне метафизика! Это Тимашев хватил. Главное, что социального смысла в ней нет. Так, частность, медицинская проблема... И словечками об архетипе культуры тут не поможешь», — думал Лева, следя при этом жалкими глазами за Гришей и Аней.

— Это правда, — сказал Гриша. — Тем более, может, помощь какая понадобится. Мы ж говорили..

— Мне все равно. Только давайте скорее.

Гриша открыл дверь. Лева подхватил плащ и вышел на лестницу, за ним Аня с Гришей. Гриша запер дверь на два оборота ключа.

Они спустились по лестнице и вышли из дома. На улице все так же было жарко и парко. Они вышли к шоссе и пошли вдоль по обочине, пытаясь остановить машину. Но только когда они дошли до бензоколонки у Тимирязевского парка, им удалось взять такси.

Глава V

ПОМИНКИ

И опять Леву несло куда-то, к чужим людям, в чужой дом, да еще и в чужую беду. Но от такого бокового движения по жизни он чувствовал облегчение: казалось, что чем-то занят, не впустую проходит день. Остаться один на один с собою было страшнее: Лева принимался слоняться по комнате, перекладывать листки бумаги, писал две или три фразы, потом начинал рыться в книгах, думал о том, сколько книг им не прочитано, брал сразу две, три, а то и четыре книги, карандаш, блокнот, укладывался со всем этим на продавленную кушетку, зажигал хозяйский торшер (который раздражал его своей аляповатой тяжеловесностью), листал одну, вторую, третью, выхватывая из каждой случайные абзацы и строчки, втайне понимая, что для серьезного чтения нужна целенаправленность и целеустремленность, регулярность занятий, другой образ жизни. Он начинал грезить о библиотеке, о когда-то любимом третьем зале Ленинки, о старых толстых журналах и книгах, которые он бы листал, читал, никуда не торопясь, делал выписки с указанием года, места издания и страницы, ходил бы в буфет, в курилку, затем возвращался, слегка бы вздремывал за столом,

положив голову на руки, потом пробуждался, встряхивался и вновь принимался за чтение. В этих мечтах он засыпал. Просыпался часа в четыре утра, изломанный, не отдохнувший, обнаруживал, что лежит одетым на кушетке, книги так и не были прочитаны, — в общем, плохо.

Зато сейчас на душе было покойно. Машину его везла куда-то, он не прикладывал никаких собственных усилий, рядом Гриша, можно привалиться к дверце легковушки и подремать. Аня и Гриша молчали всю дорогу, и Лева и в самом деле задремал. Ему снился сон. Он идет по зеленому лугу. И во сне понимает, что луг — это символ человеческой жизни. Но жизнь прожить — не поле перейти. Поэтому луг — это только начале жизни, понимает так Лева во сне. Птички порхают и свиристят в синем ясном небе, солнце яркое и жаркое светит и сияет, синие цветочки разбросаны по зеленому лугу, и желтые тоже, и красные. Парко. Ноги утопают в зеленой мякоти травы, приятно пружинящей при ходьбе, ну и, конечно, разноцветные бабочки порхают, за которыми Лева с сачком бегаёт. Потом уже сачка у него в руках нет, зато ногой Лева проваливается куда-то, выдергивает ногу и чувствует, что промок. Вот уже почва стала хлюпать под догами, и скоро оба сандалета Левины наполнились водой и отяжелели, носки совсем мокрые, и он уже принужден ногой нащупывать корневища кустистых трав, чтоб не чапать по воде. По-прежнему трава зеленая, летают бабочки и стрекозы, шуршат совсем рядом своими крыльями, краснеют, синеют, желтеют цветы, но постепенно и незаметно для се-

бя Лева осознает, что скачет с кочки на кочку, а под ногами у него болото с «окнами», затянутыми ряской. А тут и вовсе разглядел он прощветы с чистой водой. Лева стало не по себе. А все равно надо куда-то прыгать, все вперед и вперед, назад почему-то не повернуть, а впереди цели никакой не видно. Кое-где вода в «окнах» была бурой или желтой, а вокруг почти изпод каждой кочки что-то хлюпало, хляпало, хлопало, всасывало и извергало, мычало, рычало, ворчало, рыгало, плямкало, хрюкало, пускало пузыри и струйки пара, сопело, шипело и квакало. Теперь Лева стало жутко, он почувствовал отчаяние, хотелось куда-нибудь на сушу, на твердую поверхность. И вдруг вдали заметил он островок, на нем скособоченную хибарку или сараюшку, а может, и барак, в котором жил раньше рабочий люд, кривую, накренившуюся к болоту сосенку на пригорке островка с толстыми выступающими из земли корневищами, издали заметными, и еще более кривую березу у самого берега. Вроде бы и цель появилась — к островку надо было идти. Но в этот самый момент Лева испытал непреодолимое желание освежиться, плюхнуться в одно из этих болотных «окон», пока окончательно он не расплавился на солнце. В конце концов, теперь цель видна, можно и расслабиться. Конечно, он знал, что опасно в болоте варазгаться, затянуть может, засосать, не выдерешься. Но хитроумный Лева решил в таком из «окон» окунуться, где полузатопленное бревно плавает. Таких бревен много на болоте Лева видел: лежит на воде древесный ствол, корой покрытый, и не шеве-

лится. А кругом хляп, хлюп, хлоп. И в ум не пришло подумать: откуда здесь древесные стволы, когда кругом — ни деревца, кроме той кривой березы с сосенкой. Нашел он такое «окошко», за кору ствола ухватился и сполз тихо в воду. А бревно вдруг шевельнулось, и увидел Лева повернутую к нему внимательную морду аллигатора. «Купаться нельзя. Аллигаторов тьма. "Неправда", — друзьям отвечает Фома», — вспомнил во сне Лева детские стишки. И очень отчетливо мелькнула мысль (он ее сразу со стыдом вспомнил, как проснулся): «Может, он кого уже съел, сыт и меня не тронет? Может, даже он меня примет за своего и мы подружимся?» Крокодил зевнул, поднявши верхнюю челюсть, нижняя оставалась неподвижной. Холод пронизал Лева от низа живота до горла. И он проснулся.

Машина, вздрогнув, затормозила и остановилась. Лева закрыл глаза и снова открыл. Он был в машине. Глаза увидели обычную картину за окнами: кусты, песочницу, детей, два столба с натянутой между ними веревкой, на которую тетка в расстегнутой кофточке, затрапезной юбке и домашних тапках на босу ногу вешала белье, — типичный быт окраинного городского района.

— Борис когда приедет? — услышал Лева Анин голос.

— Сказал, что прямо из библиотеки сюда. Думаю, часам к пяти, — это отвечал Гриша. Говорили они о своем сыне. Это Лева понял. Открывать глаза ему не хотелось. Он переживал свой коллаборационизм по отношению к чудо-

вищу, ведь надо же понимать, укорял он себя, что с этим прямым потомком доисторических гадов договориться невозможно. Фу, мерзость!

Видимо, он опять задремал, потому что второй раз открыл глаза на словах Ани:

— Зачем было брать его? Не понимаю.

При этом Гриша пытался трясти его за плечо и тащить за рукав из машины. Шофер подпихивал его с другой стороны.

— Я сам, — Лева вылез из такси, чувствуя себя, несмотря на ясный день и жару, вечерней развалиной. Его даже познабливало.

Дом, к которому они подъехали, был блочный, еще хрущевских времен: пятиэтажный, с низкими потолками, а потому и невысокий, почти по уровню третьего этажа, если сравнивать с Гришиным домом, производил впечатление барачного строения слегка модернизированного типа. У дома было три подъезда, перед каждым — лавочки, на которых обычно сидят старухи и судачат либо вечерами спускаются в летнюю пору мужики в тренировочных брюках, майках-безрукавках и шлепанцах посидеть покурить, поглядывая на небо и во двор. Под окнами первого этажа высажены кустики и деревца, образующие своими чахлыми телами запланированные прямоугольники зелени. На улице толпились кучками жильцы. Перед подъездом, где они остановились, народу было больше обычного. Пожилые толстые женщины в темных платьях, мужчины разных лет в черных костюмах, столь же мрачно одетые девушки и парни. По обеим сторонам подъезда были прислонены к стене и к скамейкам венки из смеси живых и

искусственных цветов, повитые траурными лентами.

Когда они двинулись к подъезду, из толпы старушек и пожилых женщин им навстречу выбралась одна в черной плюшевой жакетке, припала к Аниному плечу и запричитала:

— Племяша, родная моя! Вот как свидеться-то довелось! Хорошо, Антон не дожил, Царствие ему Небесное. Он из внуков-то, ты уж прости, не Борю твоего, а Андрейку больше всех любил.

Аня похлопывала ее по спине ладонью, успокаивая:

— Ладно, тетя Паша, ладно тебе. Как там Сима сегодня?

— Покрепче, покрепче, чем вчера.

Уже на лестнице, узкой, с короткими пролетами, плоскими и низкими ступенями, где рядом не поместиться, Лева спросил:

— Кто это подходил?..

Гриша, шедший на ступеньку впереди, обернулся, приотстал от Ани и ответил шепотом:

— Сестра Антон Гаврилыча, покойного Аниного отца.

Они поднимались на четвертый этаж. По дороге, на втором этаже, слышалась приглушенная музыка, шум, вдруг донесся крик: «Горько!» «Надо же, чтоб в том же подъезде, — подумал Лева, — смерть и свадьба. Шутки жизни, бесконечный калейдоскоп смертей и рождений». Видимо, о страшном, противоестественном сочетании подумали все поднимавшиеся, потому что Гриша вдруг повернулся:

— Непонятно, для кого это страшнее. Для тех, кто внизу или кто наверху. Маяковский как знал, когда сравнивал, помнишь? «Страшнее, чем смерть на свадьбе». То есть страшнее трудно придумать.

У дверей квартиры на лестничной площадке, а также на пролет ниже и выше стояли молодые, как казалось Лева, парни в черных костюмах и курили. Было им лет по тридцать, очевидно, ровесники покойного Аниного племянника. Среди них оказался и его брат, как догадался Лева. Невысокий парень с широким лицом, в очках, с темной родинкой на подбородке, подошел к Ане:

— Здравствуйте, тетя Аня, пойдете.

Она взяла его за руки, и они поцеловались. И Аня снова спросила с беспокойством:

— Как мама, Витя?

— Ничего, она вас ждет.

Лева умом понимал, что ему надо бы уйти, что не ждут его здесь, не до него, что он навязался мягкосердечному Грише, что не место ему среди горя, но жуткое чувство тоски и вдруг проснувшегося почти животного одиночества заставляло цепляться за Гришу, апеллируя к их прежней дружбе. А здесь какая ни ситуация, а все же люди, голоса, разговоры.

— Он с нами, — сказала Аня о Лева, испуганно мостившемся рядом. — Мы думали, Витенька, вдруг мужчина понадобится.

— Да нет, мужчин хватает, — ответил Виктор, поцеловался с Гришей и сказал Лева: — Пойдемте. Хотя помощи не надо, но спасибо за

предложение. Посидите, пожалуйста, с нами, помянем Андрейку.

Голос у него прервался, и он повел их в квартиру. В квартире было суетно, хлопотно, заплакано. Женщины с красными, зареванными лицами накрывали в большой комнате стол, уставляя его блюдами, носимыми с кухни. Мужчины стояли у окон, черные как мухи. На подоконнике стояла пиала с водой. «Для обмыва души», — пояснил один из мужчин на недоуменный Левин вопрос. Семья из деревни, несмотря на долгую городскую жизнь, сохранила старинную обрядовость, об этом Лева и раньше догадывался по Гришиным рассказам. Из разговоров Лева понял, что отец Андрея и его вторая жена уехали в морг, зато в большой комнате была первая жена, оставленная, пухлая молодая блондинка, в окружении бывших одноклассников, молодых мужчин и женщин. Временами она принималась плакать и тереть глаза маленьким белым платочком. Ее тут же начинали гладить по спине, по плечам, утешали. Покрутившись по комнате, едва не разбив локтем стекло серванта, чувствуя, что всем мешает, Лева поплелся на кухню, куда еще раньше скрылись Аня с Гришей.

Кухня была крошечная. Одну стену занимали белая электрическая плита, кухонный стол и раковина. Над столом висела белая крытая полка с посудой, над раковиной — сушилка для посуды. Простенок напротив двери целиком был занят окном. Сейчас там, у окна, стоял Гриша с каким-то мужчиной и о чем-то говорил. У противоположной стены стоял шкафчик, тоже

белого цвета, а рядом стол, очевидно предназначенный для кухонных трапез. За ним сидела Аня и толстая женщина в ситцевом платье, очках с золотой оправой, кудельками на голове, такой же «шестимесячной», как и у Ани. По ее толстым мягким щекам прямо из-под очков текли слезы. Лева догадался, что это и есть Сима, Серафима, мать Андрея и Анина сестра. Сестры резали лук, огурцы, селедку, красную рыбу, а заходившие на кухню женщины уносили все это в комнату на стол. Пожилые женщины все были в теле, корпулентные, толстые, очевидно, думал Лева, из того «социального слоя», где женская красота виделась в толщине, пухлости, обилии тела. Он и фразу одной из этих женщин, его мысль подтверждавшую, услышал: «Вот Андрейка взял за себя худеньку — и что вышло! Худенькие, они недобрые, себе на уме». Раньше, встречая таких толстых баб в автобусах или трамваях, где они занимали своими мясами почти по два места либо вмертвую перегораживали проход, Лева замечал про себя, что такая толщина антиобщественна, антисоциальна. Теперь же он подумал, что, может, и вправду зато толстые добрее. И тут же, словив эту мысль, решил, что одурел окончательно, раз оказался способен на такие умозаключения.

И озлобился. Вспомнил старую неприязнь к Аниной родне: «Что меня сюда занесло?! Мещанское болото! Здесь сразу как-то тупеешь. Смерть — великое таинство, а они о чем говорят? О чем они вообще могут говорить?.. И Гриша, Гриша, мыслитель, интеллигент во втором поколении, как сказал бы прежний зам.

Главного!.. И в самом деле, ведь Гришин отец — профессор, а его куда занесло?! Как он может с этими мещанами общаться? Как ему времени не жалко? А я? Я чего поехал? — И с неожиданной резкостью самобичевания, которое сегодня одолевало Левину душу, сказал себе: — Погреться у чужой беды — вот чего. Дом чужой горит, а я сбоку притулился, греюсь. Чтоб одному не оставаться. Так не лезь, не злись. В конце концов, сам-то ты что из себя представляешь? Неужели Главный лучше? Или Чухлов? А ведь общаешься с ними. Или новые мои соседи — Иван да Марья? Они, что ль, интеллектуалы? А вчера — с кем пил и что вытворял?! Ф-фу! Расслабься. Всюду жизнь. Будь проще».

Сима плакала, резала снедь и говорила:

— Не знаю, как все произошло. Не могу представить, что это произошло. Еще позавчера он пришел днем, веселый такой, ласковый, пообедал у нас. И треску я ему с собой завернула. Он же был такой домовитый, запасливый. А вечером уже звонит Людмила, что он утонул, утопился... — Она отложила в сторону нож, сняла очки и закрыла глаза правой рукой, левая, вздрагивая, осталась лежать на столе.

Все замолчали, не зная, как помочь, только Аня встала, склонилась к ней, обняла за плечи, прижавшись к ее широкой спине. Сима вытерла слезы, надела очки и продолжила работу, пробормотав:

— Ладно, Ань, ты меня прости, никак не могу сдержаться.

Одна из сновавших туда-сюда пожилых женщин сказала:

— Ты бы шла, Сима, переделась, прибрала себя. Сейчас Андрейку привезут, ты же должна с ним ехать. А мы здесь с Аней уж как-нибудь все подготовим. Ты хоть этим себя не беспокой.

Сима дала увести себя за руки, а ее место сразу заняла подошедшая женщина. Никого-то здесь Лева не знал, а Аня с Гришей были заняты исполнением родственных обязанностей. Лева вернулся в большую комнату. Из дальней комнаты, ковыляя, показалась старушка в платке, уже кривобокая от старости, согнутая, опирающаяся на палку. Слезающимися глазами она никого не видела. Распухшие ноги были в тапочках с разрезанными задниками.

— Такой уж он ласковый был, почтительный, Андрейка-то, — говорила она в воздух. — Почти как Борюшка Анин. Как же это он над собой такое сделал?! Грех какой! А все потому, что с первой женой развелся. Нехорошо это было. Как уж взял жену, так и держись.

В противоположном углу навзрыд заревела оставленная жена. К старушке подошла Сима:

— Мама, иди к себе в комнату. Когда Андрюшу привезут, я тебя позову, — и она почти силком потащила мать в комнату.

Лева увидел рядом с собой Гришу.

— А Анина мама разве с Симой живет? Я думал — отдельно.

— Они как раз перед смертью Антон Гаврилыча съехались, чтоб отдельную квартиру получить. Тут тоже свои страсти были, — ответил Гриша и опять куда-то исчез.

«Как же так получилось? — думал Лева. — Жил парень нормально. Школа, армия, после

армии женитьба на однокласснице, которая дождалась, потом институт заочный, работа по специальности, так бы и жить ему с этой одноклассницей, блондиночкой пухленькой. Задумал вдруг все перестроить, перестроил. Новая жена, новые дети — и на тебе. Нарушил узор в своем калейдоскопе. Интересно, что же за бабу он нашел, что так резко его узор переменяла? А это каждый раз чревато неожиданностями, всякий переход в другую жизнь. А в этой другой жизни — шутки, пьянка, гулянка, карты, веселье до утра: иллюзия свободы. Знакомо все это, ох, знакомо. И всю эту замечательную компанию притащила его жена. Конечно, за это он в ней еще больше души не чаял. Не то что скучная и пресная Людмила-первая! Людмила-вторая оказалась компанейской, огневой, душой общества, но, как теперь выясняется, душой дурного общества... А если и со мной тоже самое происходит, — холодея, думал он. — Нет, — думал он, — я в карты не играю, не фарцую, не спекулирую, деньги не проигрываю, да их у меня и нет, живу безбытно. Не мещанин я, вот что главное! На чем меня поймать злой силе?..»

Лева вышел на лестничную площадку покурить, чтоб хоть как-то занять себя и не скитаться неприкаянно. Дверь была не заперта, и народ свободно циркулировал с лестницы в квартиру и из квартиры на лестницу. Закурив, Лева присоединился к одной из мужских группок, став рядом. Там обсуждалось сплетение свадьбы и поминок в одном подъезде. Высокий, широкоплечий, арийского типа блондин, с открытым, породистым лицом, белозубой улыбкой, носив-

ший черный свой костюм с элегантно небрежностью, паясничал:

— Если, конечно, гроб наверх понесут, черт знает что выйти может. Как в анекдоте. Представьте, други: идет свадьба. Все веселятся, кричат «горько», желают молодым счастья и долгих лет жизни. Ну, как положено. Тут звонок в дверь. Думают, что это либо опоздавшие, либо поздравительная телеграмма, — посылают открывать жениха с невестой. Те открывают. Вваливаются спиной в дверь два амбала, руки чем-то заняты, за ними еще два. И вносят... гроб. Невеста в обмороке. А амбалы хрипят: «Извините. Мы на минутку. Нам бы только развернуться. Уж больно у вас лестницы узкие».

Все было засмеялись, но тут же смолкли, уставившись куда-то. Лева обернулся и увидел, что по лестнице поднимается худенькая, бледная женщина в зеленом платье и почему-то синих перчатках. Рядом с ней седоватый мужчина, стриженный ежиком, невысокий, сухощавый, ладный, с военной выправкой. Ни на кого не глядя, они вошли в квартиру.

— Привезли, — выдохнул кто-то сзади. Лева загасил о каблук сигарету и прошел следом. Сухощавый мужчина что-то отвечал на вопросы, кивал головой, пожимал руки. Увидев Гришу, двинулся к нему и, отведя ладонь, затем хлопком поздоровался с ним. Они поцеловались.

— Здравствуй, Гришенька, спасибо, что пришел. Аня-то звонила, что будет. А Борис придет?

— Скоро должен быть.

— А Андрейка наш уже никогда... — он махнул рукой, отвернулся и неожиданно заплакал. Но сдержался, вытер слезы. — Извини. Это твой товарищ? — спросил он о подошедшем Лева. — Вы нас извините, если что не так. Спасибо, что пришли. Посидите с нами. Андрейка любил гостей, — он говорил почти как автомат, но видно было, что только потому и держался.

Вышла Сима, под руку ее поддерживала Аня, следом две пожилых женщины вели Настасью Егоровну, старуху в тапках с разрезанными задниками, бабушку Андрея, мать сестер. Все принялись спускаться вниз по лестнице друг за другом, цепочкой. Перед подъездом на каком-то возвышении стоял открытый гроб. Около него дежурили старший брат покойного и несколько парней с хмурыми лицами. Люди подходили и опускали в гроб цветы. Неподалеку ждали два похоронных автобуса, в них сидели равнодушно-терпеливые шоферы.

К гробу подошел отец, посмотрел на сына, поцеловал его, подняв голову, обвел глазами собравшихся, на невестку в зеленом платье (на ней кроме синих перчаток был еще теперь черный платок) ни он, ни старший его сын старались не глядеть. Зато пухлую блондинку он мимоходом погладил по голове, а мать покойного прижала ее голову к своему плечу. Уткнувшись в плечо бывшей свекрови, первая жена опять начала плакать. Вторая глядела немного затравленно, но твердо, и твердо встала у изголовья гроба.

— Кто остается и на кладбище не едет и кто хочет, подходите и прощайтесь, — сказал отец, еще раз поцеловал сына и отошел.

Первыми к гробу двинулись родственники. Вид Андрея был страшен. Лицо его казалось неестественно вытянутым и плоским, он был до подбородка укрыт белым покрывалом, так, чтоб не видно было горла. И все равно охватывала жуть при взгляде на него. Вся левая сторона лица была черно-синяя, словно гигантский синяк с уже почерневшим кровоподтеком. И хотя лицо было восковым, земляным, как у всякого умершего человека, из которого улетела душа, на лице отпечатлелось недоумение и страдание. К изголовью подошла Сима, склонилась, гладила лицо сына, целовала, что-то шептала, потом шепот перешел в громкие причитания:

— Сыночек, солнышко мое, мальчик мой золотой! Маленький мой, деточка моя! Не уберегла тебя твоя мама! Не устерегла, на ком женился, с кем связался!.. Все-то ты от матери скрывал и таился! Сама, сама должна была догадаться, сердцем почуять!.. Золото мое ненаглядное! Как я кудри твои расчесывала, на руках носила!

Ее увели, а ее место заняла деревенская тетка, которая встречала Аню у подъезда, и заголосила, к удивлению Левы, что-то старинное, с плачем и придыханиями:

*И как от батюшки было от умного,
Да и от матушки да от разумное,
Зародилось чадушко безумное,
Безумное чадо неразумное,
И унимает тут чадушко родна матушка:
— И не ходи-тко, чадо, на царев кабак,
и не пей-ко-сь, чадо, да зелена вина,*

*и не имей союз со голями кабацкими,
и не знайся ты, чадо, со жонками со бляд-
скими,
и что ли со тема со девками со курвами. —
И не послушал тут чадо родной матушки...
Ай тут ведь к добру молодцу да Горе при-
вязалось...*

Кто-то тронул Леву за плечо. Он отвлекся и обернулся. Сзади стоял полный мужчина с портфелем, беспокойным широким лицом, слегка раскосыми глазами в детских очках, небольшими рябинками по красноватому лицу (словно Лева увидел себя в зеркало) и шептал с прямой труса и эгоиста, беспокоящегося только о себе:

— Такой молодой. Отчего он умер? Рак, наверное?..

— Нет, — неохотно и оторопело ответил Лева, чувствуя неожиданно себя причастным к близким людям умершего, а потому раздражаясь на праздное любопытство постороннего. А оттого, что был незнакомец на него похож, Лева старался даже тоном отделить себя, храброго и хорошего, от него, трусливого и плохого.

— Тогда сердце?..

— Нет, — тон Левы стал еще суше.

— Желудок? Печень?

— Нет, сказано вам!

— Что-нибудь заразное? Не грипп?.. — не отставал тот.

— Да нет!

— Слава Богу! — совершенно неожиданно воскликнул мужчина с портфелем, будто ему

надо было сейчас прощаться и целовать покойника в лоб или губы, а он боится заразиться.

— Он покончил с собой, — жестким голосом сказал Лева, чтобы пресечь этот неуместный радостный вопль и показать, что он, человек, близкий к покойному, испытывает неприязнь к своему собеседнику и осуждает его.

— А-а! Ну это не страшно, — нисколько не смутился незнакомец. — Уж этого-то я не сделаю, — самодовольно заметил он. — Я в карты не играю, не фарцую, не спекулирую, второй жены у меня нет. Меня так просто не поймаешь. — И, сделав шаг в сторону, он словно растворился в толпе соседей и случайных любопытных.

А Лева думал, что незнакомец прочитал его тайные мысли. И холодок пробежал искоркой по плечам: он вспомнил из какой-то книги, что увидеть двойника — к смерти. Тут же он отругал себя за суеверие, чтоб не страшно было жить дальше, и окончательно решил стать рационалистом.

— Придется вас сызнова знакомить, — услышал он рядом Гришин голос и повернулся. Гриша подвел к нему парня лет тридцати пяти, со шкиперской бородкой, глаза его были грустны и улыбки одновременно. Выглядел он робким и не очень уверенным. — Это Борис. А это дядя Лева.

Они пожали друг другу руки и двинулись к гробу. Подойдя ближе, Лева вдруг поймал на себе взгляд второй жены покойного, худенькой девицы в зеленом платье, черном платке, с остренькой мордочкой. Она держала у глаз бе-

ленький платочек, как и первая жена, но не плакала, а, прикрываясь платочком, зыркала по сторонам острыми глазками. «Очевидно, знает, в чем ее подозревают, и ищет хоть одно сочувствующее лицо», — решил Лева.

Стали рассаживаться по автобусам. В первый сели родные, во второй — все остальные, в том числе и Лева. Сзади него на сиденье оказался арийского типа блондин, видимо, душа маленькой компании, окружавшей его. К нему сразу перегнулись двое со следующего за ним сиденья и повернулся лицом, а спиной к движению Левин сосед. Не поворачивая головы, Лева стал прислушиваться. Автобусы покатали.

Глядя в окно, Лева слушал речь белозубого блондина, при каждой его фразе, произнесенной с хорошей дикцией, так и воображая его прямой нос, крепкую челюсть, серые глаза, зачесанные назад волосы, чистое лицо и белозубую улыбку.

— Ну, други, — ясным голосом говорил тот, — сам читал. В сборнике «На суше и на море». Реальный факт. Черт знает какая история! Не хуже этой. Ну, короче, други. Контролер канализации в Нью-Йорке, звали его, кажется, Дин Конвей, здоровый мужик, опытный обходчик, бывший вояка, попал в аварию, в автокатастрофу. Три года по больницам, а на его место пока другого не брали. В мире чистогана это тоже бывает, ценят специалистов.

— Это у нас не ценят, — сказал Левин сосед.

— Ну, это ты брось, — отрезал твердо блондин. — Настоящих специалистов везде ценят. — Слово «настоящих» он подчеркнул. —

Короче, через три года выходит он на работу. Одевает свой костюм, спускается в канализацию. А надо сказать, что без него обходили только центральные стволы, в боковые не ходили. Он этого не знал. Думал, что встретит все и везде привычное. А жизнь, други, как известно, штука коварная и изменчивая.

— Да к чему ты это рассказываешь? — снова перебил его Левин сосед, на сей раз голосом отчасти даже подхалимским: дескать, блесни, покажи, на что способен.

— А к тому, что в жизни все может быть. Вот как с Андрейкой получилось. Мы ж с ним вместе на вечернем учились. Такой был правильный мальчик, даже старостой курса был. Все думали, что жизнь его сложится так, а она взяла да сложилась совсем эдак. Неожиданно все повернулось. Короче, взял этот Дин Конвей свой фонарь и отправился на прогулку, добрел до самых отдаленных штреков. И что-то странное ему показалось там. Полная тишина. Только внимания он этому не придал. Потом только сообразил, что не слышал ни писка, ни шороха, ни воркотни, ни шуршанья. Короче, в канализации крыс ведь полно, всё туда спускают, они и жрут.

— Твари не из приятных, — передернул плечами Лева, невольно вступая в разговор.

— Это только так кажется, — ответил уверенно рассказчик. — Крыса — животное умное, способное к научению и сопоставлению. У них своя общественная структура существует, строгая иерархия. Впрочем, долго рассказывать, да и не об этом речь. По сравнению с тем, кого он

там встретил, крысы — это простодушные и безобидные существа. Короче, други, идет он себе дальше, фонарем дорогу освещает и вдруг видит, как прямо на него ползет, сопя, какое-то зеленое чудище. Как пишет этот журналист, ну, автор заметки, этот мужик сначала не поверил глазам. Дело в том, что на него полз... крокодил.

Лева вздрогнул, но промолчал, чувствуя, что сегодня ему везет на рассказы о крокодилах. «Так и свихнуться недолго».

— Откуда в канализации крокодил? — продолжал свое повествование холеный рассказчик с правильными чертами. — Это потом только выяснили, что какая-то семья купила во Флориде крокодильчика, привезла в Нью-Йорк и выпустила в свой бассейн. Крокодильчик там плавал, плавал, а потом исчез. Позвали рабочих, спустили воду и обнаружили дыру в канализационный сток. Но никому не сообщили, думали — погиб крокодильчик. А он и не погиб. В канализации прижился, ел крыс и всякое, что туда бросали, может даже человеческие трупы, которые туда скидывали гангстеры. И за несколько лет вырос в здорового пятиметрового крокодила.

Откашлявшись, белозубый повествователь промолвил:

— Надо запить, а то горло пересохло.

Лева слегка повернул голову и увидел, как блондин вытащил из бокового кармана пиджака импортную блестящую флягу, очень плоскую и даже изящную, отвинтил колпачок, вытащил пробку, налил что-то в этот колпачок, выпил и

пустил флягу по кругу. Лева отвернулся. Через минуту его похлопали по плечу:

— Может быть, присоединитесь? Одну рюмочку. Это «паленка».

Лева выпил рюмку и почувствовал вдруг в голове полную ясность. «Вот чего не хватало с самого утра. Теперь я здоров». Он вернул рюмку, а красивый блондин продолжил прерванный рассказ:

— Короче, крокодил приучился видеть в темноте, а свет его немного ослепил. Это и позволило обходчику опомниться, и он бросился наутек. Но через пару минут он понял, что крокодил его преследует и даже нагоняет.

— Да они же еле ползают, они же рептилии, — сказал кто-то.

— Там написано, что крокодил может обогнать кавалерийскую лошадь. Вот и вообразите, други, эту гонку. Мужик этот, канализационный контролер, вроде бы воевал, был не трус (там, у них, тоже ведь встречаются храбрые люди), но тут, как он сам потом рассказывал, испугался безумно. И не просто смерти, а то, что в этой нечистой канализационной трубе его сожрет грязное чудовище, и никто никогда не узнает, как он погиб, причем погиб бесславно и позорно — в желудке пресмыкающегося.

Лева слишком даже живо вообразил себе этот канализационный тоннель, темный, зловонный, пустой и гулкий от пустоты, с шумом спускаемых временами нечистот, мокрыми стенами, стоком журчащей воды вдоль одной из стен, а также человека, который бежит, задыхаясь в этом мифическом воздухе, скользит,

спотыкается, падает, варазгается в грязи, а его догоняет длинное четырехлапое чудовище с огромной пастью, способной перекусить его пополам. И он все время помнит об этом, каждой клеточкой тела ощущает его приближение. И быть сожранным заживо, в клоаке, крокодилом — с ума можно сойти от ужаса, ведь никто даже не догадается, где ты пропал. В окно Лева видел, как автобус вышел уже на прямую дорогу к показавшемуся вдалеке кладбищу. Ехали не долго, минут двадцать пять. А за рассказом и вообще времени не заметили. Меж тем холерный блондин заканчивал свой рассказ, эпически повествуя, как Дин Конвей никак не мог попасть в отсек с выходом на улицу, но не сдавался, боролся до конца; как он потерял свой фонарь, а только его свет и останавливал крокодила; как наконец нашел отсек, взлетел по лестнице, но люк не открывался — на нем стоял автомобиль; как он несколько часов просидел, сжавшись, на верхней ступеньке, вцепившись в нее руками и обхватив ее ногами, а чудовище щелкало зубами в нескольких сантиметрах от его тела. Все же он выбрался.

Автобус остановился у домика перед воротами кладбища. Шедший впереди автобус уже стоял там. Около него ходили люди. Они курили и чего-то или кого-то ждали. Лева и его попутчики тоже вышли из своего автобуса и тоже закурили. Из домика рядом с воротами появились Николай и Виктор, то есть отец и старший брат покойного. Рядом с ними шагал какой-то ширококостный толстый мужик с равнодушным лицом и грубыми движениями. Мужик выкатил из

находившейся рядом сараюшки катафалк на колесах, на него поставили гроб, мужчины, взявшие венки и большой фотопортрет покойного, возглавили шествие, и процессия направилась на кладбище.

Лева был среди тех, кто катил катафалк. Катил или делал вид, что катит. Когда народу много, понять это трудно. Состояние духа у Левы было смутное и тяжелое. Непрестанное появление крокодила в его мыслях, рассказах и случайных словах окружающих казалось ему очень нормальным. Он, правда, утешал себя тем, что, когда не хочешь про что-то думать, оно тебе и является непрестанно. Это одно объяснение. Другое — и этот феномен Лева наблюдал в своей жизни тоже не раз — это то, что можно назвать направленным вниманием и интересом разума: стоит, скажем, четко обозначить себе тему исследования, как во всех книгах, статьях и явлениях жизни ты начинаешь замечать нечто, относящееся к твоей теме, что раньше — даже в неоднократно читанном — проходило мимо глаз. Лучше постараться принять это между прочим. Вот есть разговоры про крокодила, есть про Андрея, есть про похороны, вот идут люди меж оград по асфальтированной дорожке, катят катафалк, несут венки, вот вырытая могила, двое рабочих с лопатами и толстой веревкой; в стороне, прислонившись к могучему дереву, курит третий, тоже в брезентовой запачканной землей робе, с брезентовыми рукавицами, торчащими из кармана куртки. Лица у рабочих привычные ко всякому, равнодушные, деловые, ожидающие момента выполнить

свою функцию в протекающей церемонии, получить из рук родственников свою десятку и пойти ее спокойно пропить.

Потом опять голосили женщины, укладывали гроб цветами, снова подходили прощаться, говорили «На кого ж ты нас оставил?!» и «Спи спокойно», потом закрыли гроб крышкой, рабочий поправил покрывало, чтоб не высывалось, и заколотил гвозди в крышку, затем гроб на веревках опустили в глубокую могилу, все бросили вниз по комку земли, и рабочие, взяв лопаты, начали закидывать яму землей. Скоро вырос маленький холмик. Несмотря на массу сырой земли и холод, долго веявший из глубины ямы, погода по-прежнему казалась ясной и жаркой, а день — хорошим летним днем. Деревенская родственница в черной плющевой жакетке обошла всех с железной миской, давая всем оттуда по чайной ложке кутьи — риса с изюмом. Лева первый раз ел такое. Потом отец и старший брат покойного укрепили в изголовье фотопортрет и дощечку с фамилией и датами жизни, чтоб впоследствии на этом месте стоял памятник. И все, разбившись на группки, двинулись опять к автобусам. Автобусы тронулись, и еще через час Лева с прочими оказались в квартире, где приступили к поминкам.

Они сидели за уставленным яствами столом. Но вначале подали блины. После блинов начали есть кто во что горазд. Произносили речи, вспоминали о покойном. Каждый рассказывал о своих встречах и разговорах с ним. Выступали по очереди. Вставали, поднимали рюмку, говорили, выпивали. Молчала только вторая жена.

Отец кивал; глаза у него были набрякшие от внутренних слез.

— Пейте! Ешьте! Не стесняйтесь! — временами обращался он к сидящим за столом. — Андрейка любил поесть. Он вообще все это любил, — и отец обводил рукой обильный стол.

Так получилось, что Лева оказался рядом с Борисом Кузьминым. Напротив них сидела молодая вдова Людмила в зеленом платье и черном платке, наброшенном на плечи. Свои нелепые синие перчатки она уже сняла. Она посматривала на них, один раз Лева даже показалось, что она подмигнула не то ему, не то Борису. Но потом он решил, что это ему помёрещилось. Правда, она, наклоняясь через весь стол, ухаживала за ними, подкладывала им в тарелки салат, буженину, осетрину, копченую колбасу, семгу. На руке её, повыше запястья, Лева углядел (когда она протягивала руки к их тарелкам) синюю татуировку: цветок болотной лилии, а под ним слова: «Попробуй сорвать». Ничего особенного, но после всех рассказов об этой женщине Лева в этих словах почувствовал эротически-застывший и одновременно угрожающий смысл. А в Людмиле-второй и в самом деле была некая порочная привлекательность того типа, когда мужчина начинает хотеть женщину, забывая об условностях и пренебрегая приличиями. «Даже за поминальным столом», — испугался вдруг себя Лева. Но и опасность исходила от нее, как от какого-то болотного существа, от зеленой ящерики, зеленой змейки, зеленой кикиморы болотной — красотики с длинными волосами, заманихи, которая заманит и погубит.

Да, Лева испытывал, глядя на нее, странное двойное чувство: желание распоясаться и лягушкой, жабой, раздевшись донага, запрыгать ей навстречу, а также страх — как бы не проглотила.

Лева искоса глянул налево и направо, не читаются ли его чувства у него на лице — ему было от них жутко и стыдно. Он вспомнил, как раскорякой прыгал на четвереньках за долговязой девицей в комбинации, визжавшей и уворачивающейся от него, прыгал по мягкому ковру в комнате Саши Паладина. Висели на стене рога в серебряной облицовке, а сытый Саша, который с этой девицей уже наверняка спал, с ухмылкой наблюдал Левины прыжки. Но и тогда он так не хотел ту женщину, как эту теперь. Он даже сжался от неловкости, стараясь не смотреть на нее, но все же изредка взглядывал косыми, глупыми взглядами. А она, казалось, совсем не испытывала скорби о покойном. Когда ее отговорили, она тоже встала и сказала, но не об Андрее, а о его сиротках, своих дочках.

— У Андрея остались дочки. Давайте выпьем за них, чтоб им было хорошо, чтобы дедушка с бабушкой их любили.

Этот тост был воспринят всеми отчасти враждебно, хотя все и выпили. По общему мнению, он означал, что «она за дочек горячится», как сказала деревенская родственница громко, и тем самым говорит родителям покойного мужа: не отвертитесь, голубчики, все равно внучкам помогать придется. «Неужели она и в самом деле соучастница?...» — цепеняя, думал Лева. А молодая вдова тем временем смотрела «завле-

кающим» взглядом вовсе не на Леву, как тому сначала показалось, а на его соседа со шкиперской бородкой, на Бориса Кузьмина. Где сидел Гриша, Лева не видел.

— У Эдварда Лира, — вдруг наклонился Борис к Левае, — есть стихотворение «Джамбли», помните? — И он прочитал:

*Где-то, где-то вдали
От знакомой земли
На неведомом горном хребте
Синерукие Джамбли над морем живут,
С головами зелеными Джамбли живут...*

Вот она прямо из-за этих морей и горных хребтов, — он украдкой кивнул на вдову в зеленом платье. — Так мне, во всяком случае, кажется. Просто непонятно, как она попала в эту уютную мещанскую квартиру. — Лева согласно закивал головой, а Борис сказал дальше: — Мне лет десять назад почему-то хотелось все фантазмагорическое, невероятное этим именем называть. Так и осталось.

Хотя стихотворение Лева не помнил, но что-то фантазмагорическое в этой худенькой женщине в зеленом платье и вправду было: влекущее и отталкивающее. Но и притяжение и отталкивание имели какой-то животный характер.

— Действительно, прямо настоящая Джамбль, — шепнул он в ответ, видя с некоторой плохо осознаваемой обидой, что Людмила не в него целит. Стало опять щемяще на душе и одиноко.

Хозяин повторял, разводя над столом руками:

— Вы ешьте и пейте. Андрейка любил поесть.

Сидели, пили, ели, курить выходили на лестницу. Бабка Андрея (мать Ани, Симы и толстого мужика в полосатом черном костюме, брата Ани, то есть Гришиного шурина) все повторяла в перерыве между речами:

— Мне уже восемьдесят лет. Пожила. Хватит. Пора помирать. К деду хочу. Ждет он меня. А Андрейка меня опередил. Устала я. Хочу к деду в могилку.

Наконец Сима прикрикнула:

— Мама, перестань. И без тебя тошно. Иди в свою комнату.

Старушку, с трудом ковылявшую на своих распухших ногах, одетую в коричневую полушерстяную кофту поверх темной юбки, подхватили под руки и повели две подвыпившие, а потому чрезвычайно осторожные в своих движениях пожилые родственницы. Лева встал, чтобы пойти покурить, но как-то невольно увязался за пожилыми женщинами и заглянул в комнату, где жила Настасья Егоровна, бабушка Андрея. И умилился. Высокая кровать на пружинах, с блестящими никелированными спинками у изголовья и в ногах, белое покрывало, в изголовье три подушки, уложенные пирамидой. Буфет с резными дверцами и цветными расписными стеклышками в верхнем отделении для чайной посуды. Круглый стол, два стула. На столе чашка, сахарница, тарелка с баранками. На стене, прямо напротив входа, висела икона Божьей Матери, написания масляными красками по доске. Лева, пивший на поминках немного,

«придерживавший», боявшийся в чужом месте опозориться, увидел, что икона, скорее всего, девятнадцатого века, «новодел». Но это и было милительно. Старушку усадили на стул и хлопотали вокруг нее, а Лева вернулся в комнату. Говорил Гриша — о том, что жизнь есть тайна, об Андрее, которого он знал с младенчества, о том, что жизнь не исчезает, не уходит, что, пока мы живы, жив и любимый нами человек, потому что сильнее любящей памяти нет ничего на свете, и все в таком же духе. Гриша всегда в любом человеке мог найти что-то светлое. Идя на лестницу покурить, Лева в коридоре вдруг наткнулся на молодую вдову в зеленом платье, шедшую в кухню. Увидев Леву, она глубоко вздохнула и, проходя мимо, на секунду прижалась к нему телом так, что Лева телом же ощутил ее маленькие мягкие груди: бюстгалтера под платьем у нее не было. Опустив глаза долу, зеленая Джамбль пошла дальше. А Лева шагнул за ней, но тут же так испугался, что, чувствуя себя не активной жабой, а трусливой лягушкой и уж отнюдь не суперменом, готовым переспать с женщиной, только что ставшей вдовой, тихо подхватил портфель, плащ и, не прощаясь с Гришей и Аней, выскочил за дверь.

И поскакал вниз по ступенькам.

Глава VI ПОХАБСТВО

Домой ему хотелось, домой. К себе, на Войковскую. Под корягу. Выпил он сегодня немного, как раз чтоб хватило энергии на такой рывок. Опыт подсказывал ему, что это возбуждение скоро перейдет в сонливость, потому что и маловыпитое легло на старые дрожжи. Вот и хорошо. Только бы добраться до своей комнаты. Забиться в нее, лечь в постель и чтоб никого не видеть, не слышать, только чтоб все справлялись о его здоровье, жалели его, приносили еду, питье и лекарство, но тут же уходили, чтоб было тепло и уютно. Возможно ли это в чужой, нанятой комнате, без телефона, без уютной библиотеки с Диккенсом и Львом Толстым? Все казалось ему возможным.

Выскочив из подъезда, он натянул плащ (все-таки уже был вечер) и посмотрел на часы. Начало девятого. Совсем немного времени прошло с тех пор, как приехали, а уже он убежал. Вполне можно было бы еще посидеть, выпить. Но, вспомнив Джамбль, Лева обрадовался, что удалось убежать. Еще было совсем светло. Вечер казался тихим-тихим, очень летним, каким-то даже радостно-тихим. Он сунул руку в карман, вытащил кошелек. Деньги еще

были. Не так чтоб очень много, но на такси должно было хватить. Скорее домой. Еще бы на такси в магазин заскочить и купить что-нибудь на утро пожевать: хлеба, кефира, масла, сыра, колбасы. Простой пищи. И бутылку пива на всякий случай. Завтра суббота, на работу не идти. Можно и почитать, подумать. Но не кидаться на все сразу. И не думать о доходных статьях, о книге. Честно, честно работать. Выбрать тему. А чего выбирать! Она есть. Надо разработать *теорию калейдоскопа*. Посмотреть наброски, которые делал сегодня утром с похмелья. В кои-то веки пришла в голову настоящая и самостоятельная мысль, о таких он раньше только в книгах читал, думал; что у нас такое сочинить невозможно, тем более ему, потому что он привык размышлять только в том направлении, как его в университете учили, как на работе требовали, как *надо*. А если эту мысль продумать как следует, записать, *оформить*, литературу по этому вопросу подсобрать, во всяком случае под углом этой проблемы просмотреть ранее читанное, ведь наверняка найдется многое, что он пропускал мимо глаз. А теперь полезет навязчиво, как тема крокодила полезла. Главное — заострить внимание на данной теме.

Надо вспомнить, кто из великих нечто сходное говорил. Платоновская «пещера» сюда явно не годится... Быть может, Вико, его *corsi ricorsi* то есть приливы и отливы, его теория всеобщего круговорота?.. Нет, теория калейдоскопа — это нечто другое. Надо идти методом различения с прежними теориями. Скажем, экзистенциалисты говорят о хаосе истории, о

беспорядочном, броуновском движении человеческих судеб и устремлений, а я добавляю и исправляю: история и жизнь — это не хаос, а калейдоскоп, в котором узор меняется; но в каждую данную историческую ситуацию он четок и кажется неизменным, более того, когда меняется только хоть один компонент, то меняется и вся структура, хотя сначала этого могут и не замечать, но потом становится ясным, что возникла принципиально иная картина мира. Это специфическая система наблюдения и анализа. Потому что калейдоскоп не материальное тело, а философское, — Лева аж задохнулся от удовольствия точной формулировки. — Так изменение производительных сил меняет в конечном счете производственные отношения, а затем и надстройку, то есть всю духовную жизнь. Таким образом, кстати, я не выхожу за пределы Марксова материализма, диалектики. И я смело отказываюсь от идеи, муссируемой снобами и пижонами сегодня, от идеи Бога, который якобы управляет миром: Калейдоскопом управлять невозможно. Его можно только наблюдать и пытаться уловить закономерность смены узоров. Сюда следует, пожалуй, присобачить и «морфологию культуры» Шпенглера, где всё в одном ряду для объяснения мира: и тексты, и утварь, и одежда, и архитектура, и нравы, и политика, и экономика, и искусство. Из этой морфологии и создайся калейдоскоп культуры, эпохи. Но тут-то мы его и поправим, хихикнул про себя Лева. Он не видит изменчивости мира, не понимает диалектики этого изменения. Короче, что-то наклеивается, вырисовывается нечто.

Короче, тему надо столбить, параллельно же начинать ее серьезную разработку.

А если ее удастся оформить и сформулировать, разлетелся от счастья Лева; то она наверняка останется. *Останется*. Даже когда его не будет. Пусть не напечатают про это. Можно и с докладом выступить. Лева тут же вообразил зал Ученого совета Института и себя на трибуне перед микрофоном с бумажками и стаканом воды. Конечно, его теорию не примут, но все о ней будут говорить, а поскольку она будет достаточно сумасшедшей, то никто из начальства не захочет присвоить его идей, как обычно делалось, когда Лева писал за высоких людей их статьи. Эта работа вхолостую, на чужого дядю, когда при этом и собственных мыслей развернуть нельзя, приучила Леву не додумывать до конца пришедшее в голову. Их паразитизм рождал и его духовное безволие. Все равно все ухало в болото и никому ничего не было надо. Самостоятельного не было надо. А было надо, как надо. Нет, здесь он напишет для себя, свое. Пусть потом говорят. «Слыхали, какую идею Помадов выдвинул?» — «Да, совершенно сумасшедшая». — «Сумасшедшая-то сумасшедшая, да в этом что-то есть». — «Верно. Во всяком случае поразмыслить заставляет». Лева довольно про себя улыбнулся, представив эти разговоры. Одно дело в пивной про калейдоскоп ляпнуть, другое — *теоретически* эту идею обосновать. В пивной ее только Тимашев и оценил. И то наверняка забудет. А *статус* теоретической идеи она может получить только после *научного* выступления.

После дождя и жары в воздухе стоял аммиачный запах, точно на уроках химии. Лева шел к шоссе, размышляя и помахивая портфелем, в котором лежали «Повесть о Горе-Злочастье», старая «Иностранная литература» с рассказами Кафки, которые Лева нашел в хозяйской библиотеке на Войковской и до которых у него уже третий день не доходили руки. И то и другое надо бы прочесть. Вот ведь жадность. Имел что читать, а все же книгу у Тимашева выцоганил. Теперь две читать придется. А времени мало. Впрочем, может, их удастся использовать как материал для его теории. Может быть. Это было бы хорошо. А то куча дел, и надо стараться, чтоб попусту время не тратить. За квартиру еще платить. И за комнату. Да Верке, когда родит, коляску и кровать надо. Остальное ее мать купит, а это вроде бы мужская обязанность, раз он порядочный человек. Хорошо людям типа Морковкина, мастерам жизнеустройства собственного. Пьет с нужными людьми, и не просто пьет, а умеет подружиться, у него есть машина: и чуть что — ах, куда же нам без Морковкина, а он безотказен, его машина к всеобщим услугам, и весельчак, и гитарист, и за пожилыми женами пожилых друзей ухаживает, предоставляя тем временем пожилым друзьям свою квартиру для встреч с любовницами, этаким жиголом, и пишет неплохо, пишет то, что нужно, но живо, живо, и с престижными цитатами из Аверинцева и Бахтина, зато от своих любовниц, которые собираются рожать, он умеет полностью устраниваться: я-де был против, сама решила оставить ребенка, сама и расхлебывай, и сравнительно честно

все это, и снова он свободен и независим, в любую компанию на своей машине, усатенький, худенький, гибкий, подвижный, и с деньгами. «Эх», — Лева вздохнул. Конечно, на коляску и кроватку деньги отложены. Не так много и надо. Рублей сто вместе с доставкой. Да, а потом лишнего не будет. Пожалуй, придется рецензию написать, все-таки рублей сто она принесет. И книжка вроде бы ничего, да и рецензия с гарантией пойдет.

С такси Лева не повезло. Машины с зеленым огоньком, сколько Лева ни поднимал руку и ни выбегал даже на шоссе, не останавливаясь проносились мимо, даже не притормаживали. Зато шли какие-то автобусы номера которых были Лева неизвестны, как и их маршрут. Наконец, уставши ловить машины, Лева подошел к передней дверце подрулившего автобуса и крикнул обращаясь к шоферу и к двум-трем случайным пассажирам, семейной паре, очень благопристойной на вид, и парню с гитарой:

— Куда едем?

— Машина только до Савеловского, — сказал в микрофон водитель, услышав Левин вопрос, а увидев, что к задней двери двинулись еще двое людей (парень с девицей), повторил: — Граждане, машина следует только до Савеловского. Затем в парк.

— Мне подходит, — бормотал Лева, влезая и устраиваясь у окна. — До Савеловского, а там на трамвае до Войковской как раз.

Он сел у окна, поставив портфель на колени. От выпивки, тянувшейся со вчерашнего вечера, Лева теперь чувствовал усталость во всем теле,

хотя сонливости рока не было, он еще держался, потому что на поминках не усердствовал. Да и Джамбль-Людмила вовремя его спугнула. А то бы наверняка сорвался. Да еще бы к кому из женщин полез. Нет, все к лучшему. А с этой вдовой, ну ее к черту. Он снова вспомнил, как с Мишкой Вёдриным они подцепили откровенную на разговоры бабу, у которой оказался сын-инвалид. Вспомнив, пожалел об имбирной, которую они отдали бабе, и о нелепой драке из-за проблемы блага у Платона. Нет, дураки они были, что отпустили бабу. Не отпустили бы, и драки бы не было. Тогда про Платона и не вспомнили бы. Нет, тогда он не боялся женщины. Но эта Джамбль, ну ее. Слишком зазывная, чересчур. Хорошо, что он сбежал. Жаль только, Гришу не предупредил. Да догадается, надо надеяться.

Леву трясло, он подскакивал на сиденье, обнимая руками портфель, и старался сосредоточиться на чем-нибудь серьезном. Уже давно Лева решил, что спяну читать в транспорте не будет, но каждый раз принимался за книгу: во-первых, чтоб продержаться дорогу, чем-нибудь завлечь свое внимание, а во-вторых, чтоб наверстать упущенную за время пьянки возможность интеллектуального усилия. На сей раз Лева, прежде чем прибегать к помощи чтения, решил вспомнить, где и когда он мог читать о калейдоскопе в художественной литературе. Мысленно пробежать ряд возможных книг, в которых хоть что-нибудь об этом говорилось. Но ничего не мог припомнить. Даже обидно стало. Вот о крокодилах — сколько угодно. Тут тебе и

«Крокодил Гена» Эдуарда Успенского, и «Крокодил» Корнея Чуковского, и «Крокодил» Достоевского, а уж поминается он в разных стихах детских: по многу раз. Целая крокодилада. И почему так в стране, столь далекой от жаркого пояса, где люди крокодилов видели только в зоопарках? Что за тяга? Он вспомнил слова Тимашева, что русский философ Василий Розанов называл Волгу «русским Нилом». Но на Ниле, как известно, крокодилы водятся; а на Волге их в помине нет. Какая же связь? Может, дело в том, что крокодил — потомок древних ящеров. А ящеры здесь были: Это Леву в свое время поразило, когда он читал книгу академика Рыбакова «Славянское язычество». Оказывается, как глубока народная память! Ведь стихок «Сиди, сиди, Яша, под ореховым кустом» вырос из древнего заклинания «Сиди, сиди, ящер; под ореховым кустом; грызи, грызи, ящер, орешки каленые, милому дареные». Орех — он тоже какими-то волшебными свойствами обладает. Ящера заклинали ореховым кустом. А ящер сидел и ждал жертвоприношения. Вот жуть. Потом все забылось, и ящер стал невинным Яшей из детской песенки. Хотя крокодил тут, наверно, ни при чем. Древнее остается в слове, а тут слово другое, нерусское.

Лева вздохнул и, щелкнув замками, раскрыл портфель. Склонился над ним задумчиво. Все равно о калейдоскопе ничего не вспомнилось. «Повесть о Горе-Злочастье» доставать не хотелось. Хватит с него сегодня и горя, и злочастья. Лучше «Иностранку» с Кафкой. Кафку образованному человеку надо знать. Хотя, как спяну

говорил Шукуров, все на свете читавший как «интеллигент в первом поколении» (Лева завидовал цепкости этих первооткрывателей культуры; где он проходил мимо, питаясь слухами, надеясь на общую эрудицию, они усердно штудировали, пытались разобраться, причем в новейших течениях, которые Лева презрительно игнорировал; им это было надо, у них не имелось *базы*, семейной *основы*, все самим приходилось добывать), «в сочинениях Кафки нет просвета; Потому что — и это видно из его текстов — для него Бог умер»: «А на самом деле Бог не умер?» — спросил в ответ Саша Паладин. «Да его просто нет, — сказал Вася Скоков. — И не было». — «Надоели мне эти псевдовыяснения псевдovoпросов, на которые всем на самом деле наплевать и только все интересничают своим глубокомыслием, — высокомерно провещал Тимашев и тут же заискивающе обратился к лидеру: — Ты что скажешь, Кирхов?» Но Кирхов ухмылялся своей мифистофельской ухмылкой: мол, о чем тут говорить, все чушь и детские игрушки. Он поднял кружку, прищурился, глядя на нее, отхлебнул пива, все ждали решающего слова, но он засмеялся и ничего не сказал все же. А Лева тоже молчал, но был отчасти согласен с Тимашевым, что Богом нынче «пижонят», хотя идея это глубочайшая, возникла не случайно; сейчас, конечно, Бога уже в сознании людей нет, потому что он не нужен. Хотя, разумеется, человечество с трудом отказывалось от этой идеи, боясь потерять нравственность, чему пример творчество Ф.М. Дос-

тоевского с его альтернативным сопряжением: если Бога нет, тогда все позволено.

Лева отлистнул страницы журнала и принялся читать Кафку, рассказ «Превращение», про Грегора Замзу, обратившегося в насекомое: «Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое. Лежа на панцирно-твердой спине, он видел, стоило ему приподнять голову, свой коричневый, выпуклый, разделенный дугообразными чешуйками живот, на верхушке которого еле держалось готовое вот-вот окончательно сползти одеяло. Его многочисленные, убого тонкие по сравнению с остальным телом ножки беспомощно копошились у него перед глазами». Но, в отличие от проснувшегося героя рассказа, глаза у Левы стали слипаться, как всегда с детства с ним бывало: когда что-нибудь неприятное настигало его, он засыпал, а здесь еще и алкогольная сонливость, да в сочетании с малопривлекательным рассказом этого самого Кафки, — и Лева заснул. Журнал выскользнул у него из рук, и он лбом стукнулся о никелированный поручень переднего сиденья, блестящего (как отметил Лева, еще только усаживаясь на свое место), как никелированная спинка кровати в комнате Настасьи Егоровны, Аниной матери. От удара Лева очнулся, подхватил с грязного пола журнал, расправил замызганные страницы, постарался стереть грязь, но только ее размазал. «...Нет, читать я не могу», — сказал он себе и сунул журнал обратно в портфель, И вспомнил почему-то идиотскую шутку Кирхова, превратившего в

тот раз (когда говорили о Кафке) этой шуткой свое ироническое молчание: «На ваш прямо поставленный вопрос, есть ли Бог, отвечаем утвердительно: да, Бога нет!»

— Савеловский вокзал. Дальше не поедем, — объявил шофер.

Лева собрался с силами и вышел. Толстая старуха с черными волосиками на подбородке, усиками и шишкообразным носом, похожая на ведьму, оттолкнула Леву, собираясь лезть в автобус.

— Он дальше не идет, — пояснил Лева.

— Но мне нужен именно этот автобус, — злобно окрысилась старуха.

— Я вас уверяю, он дальше не идет, — вежливо повторил Лева.

— Как ты можешь в чем-нибудь уверять, когда ты сам про себя ничего не знаешь! — пренебрежительно (что было обидно от такой неприятной старухи) сказала она, влезла в автобус, двери закрылись, и автобус куда-то покатил, хотя шофер и говорил, что дальше не едет.

Лева изумленно посмотрел вслед автобусу, досадуя на свою всегдашнюю непригодность и культяпистость: может, надо было понастойчивее поговорить с шофером, хотя, с другой стороны, куда ему-то дальше ехать на автобусе, ему на трамвае теперь надо. Но неужели у него на физиономии написана такая интеллигентская растерянность, гамлетизированная нерешительность, что даже дурацкие грубые старухи замечают это с одного взгляда? А от гамлетизма и пьянство, и все остальное, потому что не может он, чтоб «да» у него было «да», а

«нет» было «нет». Вечные экивоки, вечные «может быть»... Инга привыкла, простила, а Верка («Века», как, ластясь, она сама себя называла своим детским именем), несмотря на обожание и преклонение, плохо восприняла его вчерашний запой по поводу выговора. Он ей утром по дороге на работу позвонил, хотел исповедаться, но она трубку бросила. Сволочь Главный, сам велел Гамнюкова сократить, а козлом отпущения оказался Лева, исполнитель. Впрочем, Верка уже пару месяцев как стала смотреть на него с вопросом, без восторга и обожания, задумываясь, похоже, о судьбе их будущего ребенка. Это и добило Леву, довело до комнаты на Войковской. Не слова, не ругань, а взгляд, в котором перестало светиться обожание, а лишь недоумение и сожаление, что он оказался так нерешителен и слаб, что она не может им гордиться. А человеку надо, чтоб им кто-нибудь гордился! Отчего это на Западе кто Гамлет, тот непременно действует и решителен чрезвычайно? А у нас кто склонен к рефлексии, тот уж непременно запьет вроде Мити Карамозова, а уж действовать — ни в какую, как бы начальство чего не сказало! А об этом даже Грише не сказал — о выговоре, о том, что с Веркой поцапался, на Войковскую перебрался, и хоть уже и помирились, и о кровати Лева думает, а Верка только о будущем малыше, а все-таки Лева уже живет отдельно от всех. Почему Грише не рассказал то, что все ребята в редакции знают, понять он не мог, ведь рассказал то, о чем никто не знает, что так поздно женщин узнал — в двадцать один год, всем же всегда

рассказывал про свои еще школьные любовные похождения, как же, мужская гордость! В такой интимности признался, что жуть. Но тут же с трезвой, непонятно откуда взявшейся беспощадностью сказал себе, что и самобичевания его, и это интимное признание, самообнажение должны были показать Грише, что внутреннее ядро у него все же чистое, что он не испорчен, и вызвать этими признаниями похвалу себе. А про выговор и запой в результате выговора Гриша бы не понял, а то и осудил бы. Да, каждому свое, каждому надо рассказывать «свое», то есть то, что слушателю доступно. Но все равно про начало сексуальной жизни Грише тоже не надо было рассказывать, даже чтоб хвалил. Похмелье проклятое! Сколько лет знакомы — он ни разу про это не сказал, а тут распустил язык!

Размышляя так, Лева не двигался с места, бессмысленно глядя на булочную, находившуюся прямо перед ним. Так он и стоял, пока проходившая мимо веселая тройца парней не захохотала ему в лицо, а один, самый наглый, не постучал костяшками пальцев Лева по голове со словами:

— Эй ты, забыл, как ноги передвигаются?!

Был этот парень плечист, с квадратной челюстью, похож на Джека Лондона. Одет в ковбойку с короткими рукавами и расстегнутым воротом, на широкой груди топорщились мышцы, белая рука была огромной и мускулистой, а на кисти ее Лева увидел татуировку: «Цветы цветут в садах, а юность вянет в лагерях!» Поистине татуировки преследовали его сегодня. Лева ис-

пугался и замер, заморгал глазами. Но компания просто веселилась и не тронув его, двинулась дальше. За ней, очнувшись от столбняка, потащился и Лева. Он спустился в подземный переход, но шел медленно, стараясь не нагнать этой компании. Парни вышли направо, а Лева, наоборот, налево, в сторону магазина «Восход». Ему-то надо было направо, в сторону телефонных будок, обогнув которые он как раз и выходил к трамвайной остановке. И теперь, увидев, что компания уже изрядно удалилась, Лева собрался было двинуться к телефонным будкам, как к нему подскочил, подмазался, подрулил, подобрался мужичонка в затерханном пиджачке с прорезами, с маленькой головенкой и обратился с вопросом, почему-то вполголоса произнесенным:

— Слышь? На двоих не будешь? А то у меня не хватает.

Видно, судьба следовала залевой по пятам, и противостоять ей он не мог. А облик его, расхристанного после вчерашней пьянки, хотя и похмелившегося, вызывал на подобные вопросы. Лева не умел отказывать в таких просьбах (многолетняя привычка сказывалась), особенно «человеку из народа». Контакт, контакт с народом нужен русскому интеллигенту, любой ценой! Омыться в его простоте и чистоте, самому опроститься тем самым. И Лева сразу в ответ:

— А что, разве еще дают?

— Да здесь магазин до девяти. Водки нет, бормотухи тоже. Одна «Плиска» семирублевая. А у меня только трешка. Думал, бормотуха есть,

вино, одним словом, а там только «Плиска», — объяснил, сокрушаясь, мужик.

— А сколько времени? — спросил сам себя Лева, глядя на часы. — Давай пошли, можем не успеть.

Лева почувствовал, что в нем сразу проснулась активность, энергия. И еще он почувствовал, что он тут главный, что он нужен, что без него не обойтись. И с ребятами он в кабак не пошел, и на поминках тоже придерживал, а тут словно прорвало, словно в струю попал, и его понесло. И не с друзьями, а с каким-то малознакомым, малорослым мужичонкой. Это как приключение, но не в джунглях, а в городе. Откуда взялись и живость, и бодрость, и задор, и быстрота движений, и резкость реакции! Они пошли быстрыми шагами, почти побежали, обгоняя прохожих.

У дверей магазина, на сером, истоптанном грязными башмаками асфальте, где валялись осколки случайно разбитой бутылки и виднелось неотмываемое и невыводимое пятно от дешевого вермута, именуемого в просторечии «краской», толпились мужики. Они малоразборчиво и не очень уверенно кричали, что еще-де пять минут по закону в магазин можно пускать, что нет такого права за десять минут до конца работы закрывать магазин, что пусть запустят хотя бы одного ходока, представителя от всех, хотя бы одного, ну, будь человеком. Но здоровенный кудлатый детина в ватнике и синем халате поверх ватника держал дверь на тяжелом крюке, временами снимая его и выпуская из магазина посетителей, отягощенных товаром, са-

модовольно прокладывающих путь сквозь толпу жаждающих. Мужики лезли к стеклянной входной двери, умоляюще прикладывали руки к груди, показывали на часы, на деньги, но страж был почти неумолим. Почти, потому что у некоторых он деньги сквозь щель брал, на секунду исчезал и возвращался с бутылкой.

Новый Левин знакомый сказал:

— Это Витюша, я его знаю. Два рубля сверху надо. Есть у тебя?

Лева протянул две трешки. Мужичонка схватил их и протиснулся к двери. Кудлатый детина пропустил его внутрь, и неожиданный Левин знакомец исчез с трешками, будто его и не было. «Два сверху» — это значит, радо было деньги мужику при входе дать, а раз он пролустил, то... нет, непонятно. Лева принялся ждать. Он ждал пять, десять, пятнадцать минут. Было ему обидно и жалко денег, но оставшийся в нем разумный человек сидевший где-то глубоко внутри, говорил, что это хорошо, что не надо жалеть денег, что здоровье дороже, что зато он теперь не нарежется и за это еще бы стоило приплать и что надо бы тихо чапать себе к трамвайной остановке и ехать себе на Войковскую по добру-поздорову. Ведь были же у него хорошие планы на ближайшие дни, а если он выпьет, то все лойдет прахом и не скоро он тогда снова соберет себя. А ведь главное — начать, работать. Он даже уже приподнялся, но словно чародейная сила держала его на месте, нет, не большого дьявола, а так, какого-нибудь лешего или водяного, но держала, уговаривала подождать, а вдруг все же появится посланец. И точ-

но, права оказалась чародейная сила, появился ожидаемый мужичонка из другой двери с бутылкой «Плиски» в руках и помахал Лева рукой.

— Извини, задержался, — сказал он, сойдясь на середине пути с Левой. — Зато две конфетки дали. Держи.

И он протянул соевый батончик. Потом они решали, где пить. По предложению мужика они нырнули в ближайший дворик, сразу за магазином. Пристроились на низенькой деревянной ограде около клумбы с неперенными анютиными глазками, за рядом мелкого кустарника, своей темнеющей зеленью скрывавшего их от случайных прохожих. Мужик поглядывал, не отхлебнул ли Лева лишний глоток, а сам рассказывал, что живет он с соседской Нинкой, что они не расписаны, но все равно получку он ей, как жене, отдает, а она стряпает и обстирывает его. Конечно, говорил мужик, я от нее иногда зашибаю, особенно с Клавкой, из того же цеха, но все равно на Нинке пожалуй что и женюсь. Потому что Клавка стерва, тварь болотная, еще и с начальником цеха крутит, живет то есть, а начальник — гад, иуда, наряды лишние выписывает и заставляет с собой делиться, но, чуть что, на тебя же и валит.

При этих словах Лева, отхлебнув еще глоток коньяка и откусив кусочек батончика, передал бутылку напарнику и сказал, что все начальники — суки и что он сам пострадал через начальника, оттого и запил.

— Я ему говорю, — жаловался Лева, — «вы же сами мне сказали это сделать», а он отвечает: «Что-то не припоминаю». Я ему говорю: «Я

вас считал порядочным человеком». А он все твердит: «Не припоминаю, вы меня с кем-то путаете». Он сам про себя говорит, что он ставит задачи, — тут Лева постарался придать своему голосу интонацию самодовольной тупости, — «не очень существенные по значимости, но важные, которые связаны с проблемами научного коммунизма; а не с фундаментальными философскими проблемами». Кретин! Как такого держат!.. Он при этом думает, что умнее всех, раз начальник, а в веках-то я останусь, потому что теорию калейдоскопа придумал, — спяну Лева терял свое чиновничество и становился очень дерзок. — Я им докажу, калейдоскоп не материальное тело, а философское! Докажу!

— На, отхлебни, — сказал мужик, чтобы утешить его. — И плюнь, — добавил он, — все равно хуже баб ничего нет.

Лева опять отхлебнул и вспомнил сегодняшнюю молодую вдову, Людмилу-Джамбль, и продолжил свою речь, только сменив теперь предмет. Начал говорить о женщинах. Это был из тех пьяных рассказов-поступков, вспоминая которые Лева готов был сквозь землю провалиться в буквальном смысле слова.

— Меня, понимаешь, бабы за что-то любят, — хвастливо врал он. — Сам не знаю за что. Знаешь, бывает в мужике такая внутренняя уверенность, что любая баба твоя, а они, суки, это чувствуют и липнут как на мед. Я, конечно, много работаю, служба у меня такая, это и хорошо, потому что мы все же не восточные люди, века проводящие в безделье, сидящие в

тени на порогах своих хибар, щурясь на солнце и попивая чай или какую-нибудь чачу. Там земля все сама родит, понимаешь? А нам работать нужно. Но как после работы расслабиться, если не с бабой да не с вдовкой?! Особенно под разговор по душам. Русскому человеку ведь поговорить надо. Вот как мы с тобой, сидим разговариваем. Утром еще и знакомы не были, а сейчас по душам говорим. А у меня тут, понимаешь, история сегодня вышла. Одна девка раза два меня видела, тоже такая тварь болотная, кикимора зеленая, но красочка; пальчики оближешь, будь здоров какая девка. Всегда в зеленом ходит. Моложе меня лет на двадцать, но влюбилась, понимаешь, по уши.

— А ты с ней?.. — спросил мужик.

— Ну нет, врать не стану. Ну, может, один раз, ну два от силы. Но прилипла как банный лист.

— Для бабы два раза, если понравился, то есть по вкусу пришелся, — это немало, это много. Это мне Нинка так говорит, — заключил мужик. — Ну? Дальше.

— Ну вот. То ли она все мужу сказала, то ли еще что в этом духе, может сам узнал, только он утопился, вот такие, брат, дела, понимаешь? — Лева как бы намекал на то, что повинен в смерти, что из-за него, удалого красавца-мужика, катастрофа произошла, почему-то хотелось ему выглядеть таким интересным, и ради этого он готов был на чудовищную ложь, ведь безнравственность и злодейство в пьяном разговоре — лучшая приправа, и наворот полуправд, перетолкованных и перевранных; про-

должался. — Есть тут и другая версия; понимаешь ли. Из блатных моя подружка-то эта зеленая, слух прошел, что мужу-то она помогла... Понимаешь? С дружками своими договорилась, ну и... Во всяком случае, поминки сегодня были, мне она, конечно, ничего не сказала, что на самом-то деле с ее мужем произошло, но так ко мне на этих поминках лезла, буквально чуть не изнасиловала. Но я — нет. Неудобно, говорю, ты что, шалава, с ума сошла, а? Завтра давай.

— Правильно. Смерть уважать надо, — согласился мужичонка.

Они еще выпили по глотку. Коньяку осталось совсем немного, а Лева хотелось еще поговорить.

— Вот я и не остался, ушел, — говорил он, придерживая бутылку; чтобы мужик не торопился допивать. — Она-то очень хотела, чтобы я остался, все принималась уговаривать, в коридор провожать пошла, на родственников не посмотрела, что осудят, а там так прижалась, что я еле оторвался. Но я ни в какую. Лучше, говорю, не уговаривай, а то поссоримся. И ушел.

— Молодец, — одобрил мужик.

— Я вот думаю, может, сейчас к друзьям поехать, — неожиданно для себя сказал Лева (ему захотелось еще похвалиться и верными друзьями мужчинами, которые, как рыцари Круглого стола короля Артура, готовы за него в огонь и воду). — Они у меня настоящие ребята, любят меня, понимаешь? А пьют так, что будь здоров.

Но коньяк кончался, и мужик, видимо, решил закругляться.

— Давай допивай, — сказал он.

Они допили. Лева лихо отшвырнул бутылку в кусты. Ему хотелось продолжить рассказ о своей романтически-преступной страсти и верных друзьях, готовых на все за него, и он предложил:

— Может, перекурим?

Мужик вытащил «Приму», Лева «Яву», но тут же решил закурить покрепче и взял у собутыльника его сигарету. Они закурили. Вдали проехал уже который по счету трамвай.

— Ты куда сейчас? — спросил Лева, надеясь начать новый тур беседы, незаметно переведя разговор на себя. Был он уже сильно пьян, в голове шумело, его пошатывало, когда он шевелился.

— Да я здесь живу. Дом на болоте, — и мужик указал на стоявший неподалеку девятиэтажный серый прямоугольник дома.

— Почему на болоте? — испугался чего-то Лева.

— Говорят, раньше болото тут было. Осушили и дом поставили. Родился я, значит, на болоте. На болото и переехал. Такая то есть судьба у меня — на болоте быть. А сами мы с Севера. С болотистой местности. У нас там такие деревни досель есть. Мы еще язычники там. А в Москве, почитай, лет тридцать, не больше. У меня отца лешим в деревне звали.

— Ну ладно, расходимся, — заторопился, притушивая сигарету и отводя в сторону глаза. Лева.

Лева был человеком суеверным, и этот корявый мужичонка вдруг ему жутким показался: ни-

зенький, верткий, но чувствуется, что жилистый, не то что рыхлый Лева! Лева испытывал такой же сейчас испуг, даже страх, как когда ему Кирхов сказал, что его Верка мышьяком подтравливает. Пьяный страх подкинул его верх, он перепрыгнул деревянную планку ограды и, подвывая, бросился через кусты и клумбы к трамвайной остановке.

Глава VII

ВЕЧЕРНИЙ УЖАС

Было пустынно на трамвайной остановке. Да и стемнело уже. Правда, под фонарным столбом у остановки свет очерчивал некий круг безопасности. Лева трусливо и затравленно оглянулся, отдышаваясь. Мужик его не преследовал. Но оставленный сзади двор чернел таинственно и страшно, как дыра в иной мир. «Ишь куда завел, в какую черноту»; — бессвязно думал Лева, дальше мысль не шла, потому что голова была полна хмеля, сосредоточиться было трудно, просто невозможно. Стекланный прямоугольник трамвайного павильона под крышей отражал свет электрического фонаря. В закутке этого стекланный прямоугольника обнималась парочка, как разглядел Лева, подойдя поближе. Девушка стояла вжата в стекланный угол, а парень висел над ней, облапив двумя руками. От девушки виднелись только кусочек платья и ножки в туфлях-лодочках, обнимающие тумбообразные ноги парня и слегка вздрагивающие от любовного усилия. Парень сопел. А Лева, желая заручиться поддержкой живых существ от тьмы, идущей с оставленного им двора, не вдумываясь в ситуацию, окликнул их:

— Это в сторону Войковской трамвай? — Он и сам знал, что трамвай с этой остановки идет в сторону Войковской, и спросил, только чтобы как-то дать знать о своем существовании стоявшим людям, чтоб они знали, что он здесь, на случай мало ли чего, но именно поэтому голос его прозвучал трусливо, заискивающе и фальшиво.

Парень повернул голову и хрипло и недовольно ответил:

— Ну?

Несмотря на прозвучавший в голосе вопрос, ответ этот означал утверждение. Лева закивал, что, мол, понял, а парень отвернулся и больше не обращал на него внимания. Лева стоял в освещенном круге, стараясь не отходить далеко от павильона, держась за поручень у стеклянной стенки. Он что-то понял, и его подмывало подойти к парочке с фамильярными словами о любви, но он стоял молча, изредка робко поглядывая то в темноту им оставленного двора, то в сторону, откуда должен показаться трамвай. Лева было нехорошо, но еще не то это было состояние, чтоб заснуть где попало, просто отрубиться или вообще ничего не соображать. Страх держал его на ногах, не давая расслабиться. Но он уже чувствовал, осознавал краешком сознания, что опьянение его все же выше нормы. Тоскливое отвращение к себе снова поднималось со дна его существа, изнутри того, что раньше именовалось душою. «Зачем опять нажрался? Ведь придерживал же, придерживал с ребятами, придерживал на поминках... Утром попил пива, похмелился, на поминках оконча-

тельно поправился... Ну и остановись!.. Так нет! И как этот гнус заманил меня на пьянку? Отец у него леший, как же! Сам он леший! И две трешки пропил, и завтра опять похмеляться придется. Как не устоял? Чего за ним побежал? Гриша бы небось ни за что не пошел, это точно. Ему бы и в голову не могло придти пить по подворотням, он в свой кабинет, к книгам... А я? Опять неудобно было отказать простому человеку? А почему? Почему неудобно? Сказал бы, что денег нет или занят, тороплюсь, и все. Значит, самому это требовалось. А ведь хотел же забраться к себе, под корягу, и читать, читать, читать, читать, читать... читать... читать... — Лева почувствовал, что засыпает, и затряс головой, чтобы призвать себя к бодрости. — А вместо чтения опять вечер загубил. Впрочем, все равно бы сегодня вечером не работалось. Так что черт с ним! С кем? Да с вечером. Черт с ним, с вечером. Вот только наговорил я!.. Этому мужику-лешему!.. И чего наговорил?! Фу! Ужас! Хорошо одно, что никто никогда про это не узнает. Я не расскажу, а мужик никому не известен».

Утешенный этим соображением, Лева оглянулся и увидел подходящий светящийся трамвай. «Уф! Наконец-то!» Подальше от этого двора, подальше да поскорее. Парочка не обращала на трамвай внимания.

— Эй, ребята, трамвай, — захотел оказать им услугу Лева и тронул даже парня за плечо.

Тот обернулся, с ненавистью глядя на Леву:

— Тебе чего надо? Чего пристал?

Парень был широкоплеч и могуч, а взгляд излучал самую настоящую ненависть и жесто-

кость. «Такой и на самом деле прибить может, не задумается».

— Ничего, — быстро отшатнулся Лева и поспешил влезть в полупустой и яркий трамвай.

Двери за ним закрылись, и трамвай поехал. Сидело в нем человек шесть или семь. На полу валялись использованные трамвайные билеты, недогрызок яблока и раздавленная длинная сигарета с фильтром. Коричневое табачное крошево было растерто по полу чьей-то подошвой. «Перед вечерней уборкой, — подумал Лева. — Завтра опять будет чисто». Он уселся у окна, укрепил на коленях портфель, прильнул к нему обняв обеими руками, и моментально заснул.

— Эй, друг, проснись, конечная! — кто-то потряхнул Леву за плечо.

Он испуганно и полусонно вскочил, портфель как-то боком выскользнул у него из рук, упал на пол между сиденьями. Лева подхватил его за ребристый бок и поспешил за выходящими пассажирами. И поспел аккурат последним. В вагон повалил народ. На Войковской всегда садилось много народу. Вечер был уже совсем темный, но светились два стеклянных спуска в метро, фонари, афиши кинотеатра «Варшава». Лева посмотрел на часы — начало одиннадцатого. Голова со сна была тяжелая, его слегка мутило.

Лева подошел к стеклянным дверям подземного перехода, откуда выныривали и куда ныряли люди, напоминая плескание рыбок в аквариуме. Лева двинулся подземным переходом, где справа стояли автоматы с газетами, на каждом из которых виднелась по позднему времени

надпись «выключен», а слева вход в метро с хлопающими дверьми. Лева опять припомнил уже посещавшее его сегодня воспоминание детства и таинственно-притягательных книжек, в которых люди пробираются куда-то рукотворными подземными переходами, как граф Монте-Кристо, или спускаются, как герои Жюль Верна, к центру земли сложной системой гротов и штолен, или, как одесские партизаны, прячутся в катакомбах, не говоря уже о страшном путешествии под землей Тома Сойера и Бекки Тэтчер. Там ужасные встречи и ежеминутно подстерегающая опасность. А здесь звучит так привычно: подземный переход. И никаких тебе допотопных чудовищ и опасностей, потому что в метро всегда дежурит милиция. И потому из метро, из еще большей глубины, чем переход, тоже выходят всего-навсего люди. Но сейчас эти мысли только скользнули в Левином полусонном сознании. Скорей в свою комнату, в свою постель, укрыться одеялом и вырубиться. И чтоб никто-никто не знал о позорных речах. Никто и не узнает. А завтра с утра опохмелиться и начать новую жизнь. Если это возможно.

Потрясывая головой, вышел Лева наружу из подземного перехода на другую сторону Ленинградского шоссе. И двинулся перпендикулярно ему в глубь дворов, за которыми начинался уже лесопарк, жутковатый по вечерам. Окна магазинов вдоль шоссе светились, хотя двери и были заперты, зато кулинария по дороге к Левиному дому, сразу за углом, уже темнела окнами. Лева по утрам тут пил кофе с булочкой, когда не надо было похмеляться. С левой стороны стояли пя-

тиэтажные дома, стиля «баракко», как острили архитекторы, или «хрущобы», как их называли в народе. И все равно спасибо хотя бы за такие дома, все лучше, чем жить в коммуналках, так в свое время спорил Тимашев, и Лева был с ним согласен. Справа, сразу за зданием с кулинарией и ателье, зданием постройки сороковых годов, массивным и просторным, выходящим фасадом с магазинами на шоссе, начинался пустырь с неасфальтированной, в колеях, дорогой. На пустыре стояло какое-то одноэтажное красное здание, к нему часто подъезжали грузовики, но что в нем находилось, Лева не знал и не интересовался. Дорога была темная, в колдобинах. Свет доходил только от дальних пятиэтажек, от лампочки, горевшей над железной, с тяжелым засовом дверью красного одноэтажного дома, да трех фонарей с не разбитыми еще лампочками в начале дороги. Дорога, правда, несмотря на выбоины и колдобины, была почти прямая, она вела к длинному двухэтажному барраку, теплому, оштукатуренному, где на первом этаже и снимал Лева комнату. Сразу за Левиным домом, за небольшой кучкой деревьев и деревянным забором, проходила железная дорога, и воздух тут всегда пах характерной паровозной гарью, приятным Лева привокзальным запахом маленьких городков. Сразу за железной дорогой начинался лесопарк, куда ходили гулять местные жители. В темноте, да еще с алкоголем в организме, путь был труден. Все цепляло Леву за ноги, он спотыкался, один раз даже упал, больно ударился, очевидно ссадив под одеждой коленку и локоть. Но Лева упорно

брел к своей цели, ведомый инстинктом не в меньшей степени, чем осознанным желанием — приклонить голову в безопасном месте.

А безопасности почему-то хотелось. Что-то тревожило его. И чем ближе продвигался, тем яснее ему становилась причина тревоги — вчерашнее столкновение в подъезде. Хотя и понимал он и помнил, что ребята ему говорили, но какой-то уж сегодня день был насыщенный страхами, испугами и малоприятными столкновениями. Бывают такие дни. Тимашев, любивший рассказывать истории и анекдоты, как-то среди философических рассуждений о полосах удач и неудач рассказал следующее: два приятеля встречаются, один другого спрашивает: «У тебя сегодня день какой — как бутерброд с повидлом или говном?» И поясняет, что дни таким образом делятся: удачные — бутерброд с повидлом, неудачные — с говном. «С говном», — отвечает второй. Через некоторое время они снова встречаются первый спрашивает: «Как дела?», а второй кричит: «Помнишь, я тебе говорил, что мой бутерброд с говном? Так то было повидло!» Лева вспомнил этот анекдот неожиданно для себя, глупо захихикал и повторил: «Так то было повидло!» И снова захихикал. «А вообще-то не день сегодня был, особенно под конец, с этим лешим, а бутерброд с говном, — подумал Лева, опять спотыкаясь и мрачней. — Скорей бы уж он был позади». Лева понимал, что вряд ли кто его будет поджидать в подъезде, даже если вчера кто и был. Шпана и всякая нечисть дважды в места, где нечем поживиться, не ходит, неопытно и наивно полагал

Лева, начитавшийся книжек и считавший, что благодаря пьянству *знает жизнь*. Хотя тут он припомнил, как в их большой дом, где жил он с Ингой, повадилась ходить шпана и жечь — забавы для — газетные ящики, и выкурить ее было трудно, пока пост милицейский не установили. Но ведь не его же специально кто-то там ждет у двери!.. Кому он, Лева, нужен?! Хотя?.. Есть же на свете завистники. Вдруг тот же Тимашев решил мою теорию калейдоскопа присвоить, он ведь, сука, единственный понял, что это — открытие. И нанял кого-нибудь со мной расправиться?.. Шпану какую-нибудь. Эти за бутылку все могут. Пришьют — глазом не моргнут. Если уж, как говорят, в карты случайных прохожих проигрывают... Это как инициация у дикарей. Убьешь человека из соседней деревни, скальп снимешь — станешь мужчиной... Лева задрожал. А может, *кто другой* наш разговор в пивнухе слышал. Теория моя не то чтобы идейно порочная, но и от ортодоксии далека. Услышал и сообщил *куда следует*. Нет, тогда бы *вызвали*... Лева затряс головой, стараясь отогнать эти мысли. Краешком сознания он все же понимал, что опять начиналась «помадовщина», пьяный неврастенический психоз. Не думать о плохом! Эх, все же изменился узор его калейдоскопа! Да как незаметно, потихоньку, а все другое. Почему не жилось ему дома у матери? Рвался, рвался и вырвался — женился. А потом у Инги не жилось. Почему? Сидеть бы ему сейчас у Инги или у Верки... Ругался бы, конечно, с ними, но зато в своем доме. Хорошо Грише! Уже пятьдесят лет на одном месте жи-

вет. Это в самом деле гнездо, что-то устойчивое, почти уже родовое. Понятно, что он с Аней не разводится. Из гнезда не улетишь! А тут прешься куда-то в темноту, в пустую, холодную, одинокую и чужую комнату. Он огляделся по сторонам. Ни живой души. Даже собачники не гуляли, хотя время совсем не позднее. А ведь обычно на пустыре два-три человека непременно своих шавок выгуливали. Только сзади, от уже очень дальнего метро, раздавался человеческий гул. Но не поворачивать же назад, когда до дома метров двадцать всего осталось, уже видно его.

Окна в его доме светились, некоторые были открыты. Желтый свет из комнат освещал пространство перед домом, небольшое, но освещал. Из окон второго этажа, из комнаты братьев Лохнесских, звучала не то гитара, не то магнитофон, мужской голос пел:

*Я был душой дурного общества,
И я могу сказать тебе:
Мою фамилию, имя, отчество
Прекрасно знали в КГБ...*

*В меня влюблялася вся улица
И весь Савеловский вокзал.
Я знал, что мной интересу-ются,
Но все равно пренебрегал...*

Лева обожал блатные песни, они были такие романтические, мужественные. Он уже было подумал, что постоит под окнами и послушает, вдыхая привычный здесь вечерами запах подсолнечного масла и жареной трески, как вдруг

приостановился, не доходя до дома, и даже сделал шаг назад. «Так то было повидло», — промелькнула в мозгу та же фраза (он подумал о прежних своих столкновениях за сегодняшний день), но уже не в мажорно-хихикающей тональности, а едва им самим осознаваемая от ужаса, охватившего его непонятно почему. Он почувствовал, как под плащом опустился и обмяк его животик, а все внутренности тоже устремились куда-то вниз, под ложечкой затошнило, забулькало. «Вот так и случается медвежья болезнь», — подумал Лева, хватаясь за живот.

Перед домом был палисадничек. В нем стоял врытый стол и две скамьи. Обычно, днем и вечером, мужики там резались в домино или распивали. Лева вначале никого не заметил за столом. Пустым он ему показался. Но когда подошел он к этому столу почти вплотную (миновать его на пути в свой подъезд он не мог), донеслось от стола какое-то мычанье и хрипенье, вмешавшееся в звуки песни, и существо, сидевшее за столом, распрямилось. Фигура существа была длинной, очень длинной (даже в сидячем его положении это было заметно), с непропорционально вытянутой вперед физиономией, длиннее, чем у лошади, словно существо было в маске чудовища, в маске... крокодила... Лева сделал еще шаг назад. Он даже подумал было развернуться независимо и потрусить назад к метро. К Верке, к Инге, к матери — куда угодно! Уж больно страшен был поджидавший его (поджидавший? его?) субъект. Но пьяная слабость и трусливое бессилие стреноживали. Не было никаких сил шкандыбать (об бежать не

было и речи) назад по той же дороге через буреаки, выемки и колдобины. Непременно споткнешься и упадешь. Тут-то его и нагонят. И сожрут. Если это и вправду крокодил. Энергии, как у американского контролера-обходчика, отчаянно боровшегося за свою жизнь, он в себе не ощущал.

Да к тому же вдруг субъект и не его ждет. Да и вообще никого не ждет. И вообще никакой он не крокодил. А просто пьяный мираж. От слабости и страха на лбу у Левы выступила испарина, сердце заколотилось сильно-сильно, ноги стали вялые и недвижные. Глупо сворачивать в двух шагах от дома. Да и легче при такой его слабости добрести до дома, только бы ноги отвердели. Очень похож субъект на вчерашний пьяный бред, но вчера-то ничего не произошло. Надо было, не доходя до дома, пойти в милицию и сказать, что вчера у дома его пугал какой-то длинный в маске крокодила. Засмеют. Не скажешь же, что к тебе крокодил пристает. Да ты же пьян, скажут, и справедливо скажут. Сколько вчера выпил? А сегодня опять? Э, да тебя в вытрезвитель надо. Это милицейское умозаключение представлялось Леве неотразимым, оно было словно впечатано в матрицу Левиного сознания. Подвыпив, он боялся милиции, как самый последний хулиган.

«Пройду себе независимо мимо. В конце концов, о н далеко от подъезда сидит. Если и бросится ко мне, то, пока из-за стола вылезет (если вообще будет вылезать, может, он *просто так* сидит), все равно я успею заскочить в

подъезд. А там позвоню в квартиру, Иван или Марья откроют — и привет. Тот и сбежит».

И Лева сделал два или три шага по направлению к подъезду. Субъект не шевелился и молча смотрел на него. Лева еще шагнул. Из какого-то окна и впрямь резко пахнуло жарившейся на подсолнечном масле рыбой, но не треской, а не то мойвой, не то навагой. У Левы всегда был обостренный нюх. Но все запахи (тут он это тоже явственно ощутил) перебивал вязкий, струившийся по двору запах тины, болота, прелых листьев и какой-то гнилости. Стало сыро и зябко. Отяжелевшие ноги двигались медленно, с трудом. И вдруг из субъекта раздался голос — грудной, глубокий, сильный, мычащий, как у коровы, голос, не знающий возражений:

— Слышь? Поди сю-уда. Разговор есть.

— Зачем? — губы у Левы еле шевелились, когда он произносил это слово, но ноги окаменели, встали.

— Да надо. Иди, кому говорю-у!

И Лева подошел к столу. Но не сел, чтоб не запереть себя между столом и скамейкой, а остался стоять, не поднимая глаз на субъекта. В затылке был гул, будто стрекозы в жаркий день на болоте расшумелись до чрезвычайности, то зависая над водой, то делая бросок к какому-нибудь цветку и зависая над ним, шевеля крыльями. Но их много, стрекоз, и стрекот стоит ужасный. И еще было с ним, как бывает в ситуации предельного страха, чтоб не умереть с испугу: ощущение возникло, что не с ним это происходит, что как бы со стороны он наблюда-

ет, — защитная реакция организма. «Да, то было повидло», — отстраненно думал он о своих прежних страхах, как о страхах кого-то совсем другого.

Собеседник не вставал, и мычащий голос выходил из нутра без напряжения.

— Вот послу-ушай. — сказал субъект, — не про тебя сказано? — И он начал, словно декламируя наизусть: — Пи-аный человек, согрешив, не кается, а трезвый, согрешив, кается и спасен бу-удет. Пи-аный человек горее бесного, бесный бо стражет неволею-у, добу-удет себе ве-ечну-ую-у жизнь, а пи-аный человек стражет своею-у волею-у, добу-удет себе ве-ечну-ую-у му-уку-у, — говорил субъект нараспев, тягучим, мычащим голосом, не раскрывая пасти, что по-прежнему заставило думать о маске. Ибо Лева видел краем глаза, а может, и внутренним зрением вытянутую вперед совершенно крокодильскую морду, а субъект продолжал, словно отходную читал: — Пришедшие иереи молитву-у сотворят над бесным и прогоня-аю-ут беса, а над пи-аным, аще со всея земли сошлись бы попове и молитву-у бы сотворили, но вем, яко не прогнати пианьства, самоволнаго беса. Пи-аный человек горе-е блу-удного, блудный бо на новь месяц блу-удит, а пи-аный напиваяся по вся дни блу-удит. — тут мычащий его голос стал гулким как труба и торжественным. — Пи-аница приложен есть к свинии. Божественный апостол рече, яко пи-аницы царствия Божиа не у-узрят, но у-уготована им есть му-ука, с прелюбодей и с татми, с разбойни-кы в веки му-учитися. Без Божиа су-уда вскоре пи-аницы у-умирают, яко у-

утопленици. Аще кто пиан умрет, тот сам себе враг и у-убилица, а приношение его ненавистно Богу-у.

— А мне наплевать, я атеист, — пискнул Лева, чтобы проявить независимость, показать, что он не боится,

— Могу-у ли я о себе это сказать? — промычало существо. — Пожалуй-уй, могу-у... И все же...

Вдали загудел паровоз, послышался грохот и ляг состава. Запах гари и жареной на подсолнечном масле рыбы смешался с аммиачным болотным запахом гнилой сырости. Леву подташнивало.

— Да ты не бойся, ты садись, к чему-у на ногах маешься, так у-у тебя и голова закру-ужится, затошнит тебя, — субъект слегка приподнялся, положил переднюю конечность на плечо Лева, а его вытянутая морда с ноздрями на самом ее окончании и глазами под узким лбом оказалась прямо перед Левиным лицом. — Ду-умаешь, про тебя рассказывал?

— Ничего я не думаю и ничего не боюсь, — ответил Лева, но сел, вместо того чтобы спросить, чего, мол, тебе надо и пошел ты куда подальше. Пьяный дух немного поддерживал его, хотя он же временами устранял контроль, и страх волнами тогда захлестывал Леву. Да и хмель уже выветрился, пусть и не очень быстро. — У тебя натурально очень похожая маска крокодила, но крокодилы в воде живут, в болоте, а если выходят на сушу, то уж не на двух ногах.

— Ой, не могу-у, у-морил, у-ученый! Отку-уда ты это взял, такие сведения? А? Ой, не могу-у, —

субъект сидел и хохотал так, что отвисла его нижняя челюсть, обнажив ряды замерцавших зубов, а из пасти пахло смрадом невыковырянного и загнивающего в зубах мяса, остатка прежних трапез. — Чтоб ты знал, крокодил происходит от архозавров, так называемых вторично-водных рептилий. И он вернулся в воду-у, пройдя стадию-у чисто наземного обитания. Не исключено, слу-ушай меня, слу-ушай, что предки крокодилов, подобно многим динозаврам и дру-угим предковым гру-уппам рептилий, передвигались лишь на дву-ух задних конечностях. Понял? Так тебе напоследок и лекцию-у прочитаю-у. Бу-удешь знать, с кем дело имеешь. А может, метафизику-у хочешь?..

— Разумеется, — попытался Лева ответить с достоинством.

— Видишь ли, — задумчиво, как врач, пытающийся честно поставить диагноз, начал дикуватый Левин собеседник, — такое состояние психической су-убстанции; какое сейчас наличествует у-у тебя, позволяет, как показывает опыт, у-увидеть то, что норме не у-увидеть. Но это вовсе не значит, что ты галлюцинируешь. Просто ты видишь то, чего не видят дру-угие. В сознании твоём слой цивилизации провалился. А под этим слоем — бездна. Вот я — отту-уда. В самом деле, почему-у лю-удям, а не ящерам владеть землей?! Сие есть вопрос. Впрочем, Божий су-уд решит.

— А при чем здесь Божий суд? — спросил Лева, чувствуя, что сходит с ума, обсуждая со странным и страшным субъектом метафизические тонкости, вместо того чтобы бежать прочь,

как американский контролер-обходчик. Но американец за свою бурную жизнь в каменных джунглях Нью-Йорка, возможно, и привык к неожиданностям, к тому, что всякое бывает, что и невозможное возможно, а Левина жизнь все же к неожиданностям и небывальщине не прикасалась, а потому кроме страха, отнимавшего силу у ног, его не покидало ощущение, что «такого не бывает».

— Объясню-у, объясню-у. — сказал мычащий субъект, сладострастно хрюкнув. — У-у Божия су-уда много орудий. Самы по себе они могу-ут быть и у-ужасны, но их используют, и в этом их оправдание. А крокодил, чтоб ты знал, — из древнейших орудий. В Библии его называли левиафаном, и он непобедим. — И субъект снова заговорил нараспев, как, по Левиным представлениям, должен бы был почитать: — Можешь ли ты у-удою-у вытащить левиафана и веревкою-у схватить за язык его? вденешь ли кольцо в ноздри его? проколешь иглою-у челю-усть его? будет ли он много умолять тебя и бу-дет ли говорить с тобою-у кротко? делает ли он договор с тобою-у и возьмешь ли его навсегда себе в рабы? Клади на него руку твою-у и помни о борьбе: вперед не будешь, — при этих непонятных словах субъект так посмотрел на Лева, что тот невольно и послушно положил руку свою ему на плечо и почувствовал сквозь одежду ладонью странную костистость и зябкий холод, исходивший от тела существа, которое продолжало, не останавливаясь, говорить. — Надежда тщетна: не упадешь ли от одного взгляда его? Нет столь

отважного, который осмелился бы потревожить его. Не у-умолчу-у о членах его, о силе и красивой соразмерности их. Кто может открыть верх одежды его, кто подойдет к двойным челюстям его? Кто может отворить двери лица его? Кру-уг зу-убов его — у-ужас; крепкие щиты его — великолепие; они скреплены как бы твердою-у печатью-у; один к другому прикасается близко, так что и возду-ух не проходит между ними; один с дру-угим лежат плотно, сцепились и не раздвигаются. Из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет у-угли, и из пасти его выходит пламя. На шее его обитает сила, и перед ним бежит у-ужас. Мясистые части тела его сплочены между-у собою-у твердо, не дрогну-ут. Сердце его твердо, как камень, и жестко, как нижний жернов...

— Ты-то здесь при чем? — перебил его Лева, ему казалось, что он должен поддерживать разговор ради спасения своей жизни, ведь тех, с кем беседуют, особенно если они ведут себя независимо, как бы *на равных*, не должны трогать. — Это о тебе, что ли?

Словно бы не замечая вопроса, субъект, дав Лева произнести еще несколько слов, продолжал:

— Когда он поднимается, — тут он и в самом деле приподнялся над столом, так что Лева ша-рахнулся от него, но остался при этом сидеть как пригвожденный, — силачи в страхе, совсем теряются от у-ужаса. Меч, кос-ну-увшийся его, не у-устойт. Железо он считает за солому, медь — за гнилое дерево. Свисту-у дротика он смеется. Под ним острые камни, и он на острых

камнях лежит в грязи. Он кипит пучину-у, как котел, и море претворяет в кипящую-ую мазь; оставляет за собою-у све-тящу-ую-ую стезю-у; бездна кажется сединою-у. Нет на земле подобного ему-у; он сотворен бесстрашным; на все высокое смотрит смело; он царь над всеми сынами гордости, — тут он кончил говорить нараспев и добавил просто, скорее даже деловито: — Честно говоря, для жертвы всегда сложно понять, действует орудие, будучи направляемо Высшей рукою и из высших побуждений или само по себе, для собственной прихоти, ну-у, для тренировки, в конце концов.

Субъект замолк. Молчал и Лева, поражаясь, как после этой недвусмысленной угрозы он все равно не в состоянии вскочить и побегать наутек. «Так и есть, — потерянно думал он. — Сейчас конец. Правда, если он не бандит, а просто... взгляды мои выяснял, — в Левае вдруг затеплилась надежда, — тогда пожурит и... отпустит?.. На худой конец, с собой заберет. Тот он о божественном, о метафизике речь вел. О теории моей калейдоскопа кто-то стукнул. Теперь за идеализм мне вмажут. Интересно, кто стукнул. Тимашев?.. А мог и Шукуров... Вряд ли. Скоков?.. Не случайно он в высокие разговоры никогда не лезет. Слушает да на ус мотаает. Оправдаюсь. Я все же материалист. Сейчас им не тридцать седьмой год!.. А если все-таки бандит?.. Тогда хана». Он сидел в полной прострации, а в голове закрутилось воспоминание из тех дней, когда он был еще женат на Инге. И он сидел и вспоминал, вместо того чтобы «рвать когти». Никаких сил в нем не осталось. Он

вспомнил, как однажды вечером, устав от работы — редактирования, чтения и писания, — он пошел было на улицу прогуляться, подышать свежим вечерним воздухом, так он и Инге сказал. Машин под вечер уже немного, шум, копоть, запахи бензина и выхлопных газов пропадали, и можно дышать сравнительно чистым воздухом. К тому же в их четырехугольном дворе росло несколько деревьев, которые создавали ощущение зелени, во всяком случае был шелест листьев и потрескивание ветвей, что навевало умиротворение. И это-то умиротворение и хотел испытать Лева. Он не торопясь спускался по лестнице, чувствуя себя очень значительным после проделанной, завершенной работы, мудрым, усталым, солидным. То, что произошло через минуту, было просто невероятно и дико, как в кошмаре. Он уже спускался последним, маленьким пролетом лестницы, как вдруг входная дверь распахнулась навстречу ему (перед этим на секунду к ее стеклу прилипла чья-то расплюснутая физиономия) и из подъездного тамбура высунулся какой-то малый в кепке, глаза его блестели и бегали по сторонам, гнусно и воровато, улыбался он нагло и как-то криво, лицо у него было вытянутое, бледное, он даже не вошел, а скорее вкрался в подъезд, изогнувшись так, что часть его тела как бы осталась в тамбуре, поманил Леву пальцем и подморгнул.

— Слышь, ты, — хрипло и шепотом позвал он. — Выдь во двор, дело к тебе есть. А? Поговорить с тобой надо.

Иногда бывало, что распивавшие во дворе мужики просили у жильцов стакан. Но эти просьбы были понятны и конкретны, здесь же явное выманивание в темноту, неизвестно зачем. И эта-то неизвестность вызвала прямо панический ужас. Лева в тот момент стало так страшно, что, позабыв о мужском достоинстве, просто *позабыв*, ни о чем не думая, он сделал два или три шага назад спиной вверх, а прошумевшие вдруг от ветра в темном дворе деревья прозвучали грозным звуковым оформлением, фоном к словам малого в кепке. И, резко развернувшись, Лева стремглав бросился вверх по лестнице, нисколько не стесняясь своего страха и опасаясь только одного — что парень бросится за ним догонять. Парень что-то прокричал снизу, типа «подожди», но Лева уже отпирает свою дверь. И на недоуменный вопрос Инги, чего он вернулся, Лева, уже заперший дверь на цепочку, опомнившись и раскаиваясь в своей трусости, только пробурчал, что расхотел гулять. Но весь вечер, несмотря на раскаяние, липкий страх опасности, подстерегающей его за дверью подъезда, на улице, под тревожно шумящими деревьями, никак не покидал его. Тем более что совсем непонятно, о чем этому малому в кепке с левой говорить! И всякие жуткие истории о проигранных в карты случайных прохожих так и лезли ему в мысли, и думал он, что чуть не стал этим случайным прохожим. И оттого что опасность уже прошла, он судорожно вздыхал. Даже когда Инга попросила вынести мусорное ведро на помойку, он, несмотря на ее раздражение, отказался безо всяких объясне-

ний, сказав, что сделает это завтра — утром или днем. «Когда будет светло и на улице будут люди», — добавлял он про себя.

И сейчас, сидя около страшного, крокодилоподобного незнакомца, он все не мог взять в толк, почему у него не хватает сил броситься наутек, почему сил нет, почему ноги не слушаются, да и руки вряд ли послушаются, когда замок отпирать будет.

— Ты что ж, не рад со мной сидеть? Или все боишься меня? А чего боишься — и сам не знаешь? — начал субъект новую речь.

Но его перебил весело-разухабистый хулиганский мужской голос, под гитарный перебор громче обычного выкрикивавший слова:

*Прилетит Чебурашка
В голубом вертолете
И бесплатно покажет стриптиз.
Крокодил дядя Гена
Выньмет вроде полена —
Это будет наш главный сюрприз!*

Из окна братьев Лохнесских послышался шумный регот, хохот и неразборчивые выкрики, перебор гитарный смолк, а субъект сказал:

— Ишь ты, опять крокодил!.. Почему-у у вас всё крокодилы действуют? Не медведи, волки и лисы, а крокодилы! Ведь ты, Леопольд, над этим уже сегодня небось думал. Потому ли, что появление крокодила кажется самым невероятным, нереальным в этой географической полосе? А? Что скажешь? Ну, говори же. Или ты полагаешь, что ты, как вчера, пьян и тебе все мерещится. Да, не трезв. Но и не так чтобы

чересчур. Но тебе и вчера, может, не мерещилось? Ты ж материалист. А? Или надеешься, что я исчезну-у, как тот крокодил в анекдоте?

— Каком анекдоте? — со странной надеждой спросил Лева.

— А, так ты не знаешь. Тогда расскажу. Едет человек с крокодилом в автобусе, а тот, пресмыкающееся этакое, все ноет: «Хочу-у в трамвай! Хочу-у в трамвай! Мне здесь все лапы отдавили и хвост некуда девать». Хорошо. Поехали они в трамвае. А крокодил все ноет: «Хочу-у в такси, хочу-у в такси. Меня здесь все толкают, лапы отдавили и хвост некуда девать». Поехали они в такси. А крокодил и там ноет: «Мне здесь тесно, мне здесь неуютно». Тут человек рассердился и говорит: «Перестань приставать, а не то еще одну-у рюмку выпью-у, и ты не только приставать перестанешь, но и вовсе пропадешь к чертовой бабушке». Хороший анекдот? Правда, тебе, я думаю, уже никакая рю-умка не поможет. —

— Почему это? — робко и с испугом спросил Лева.

— Да ты у-уж почти все свое отпил. Тебе у-уж вряд ли что поможет. Ты у-уж и проспаться не можешь, совсем ду-урак стал.

— Н-не думаю, надеюсь, что это не так, — бормотал Лева, чувствуя, что окончательно сошел с ума, что сознание его явно раздвоилось и в мозгу, в душе и в глазах сопрягаются два несовместимых как будто плана: реальный и ирреальный. Стол с обрывками газеты, на котором, видно, сегодня воблу ели, судя по рыбьим ребрышкам, которые случайно задел Лева ру-

кой, втопанные в землю пробки из-под пива, два трамвайных билетика, засунутых в щель меж досок стола, и кучки песка: очевидно, дети не то кулички из песка на столе делали, не то просто песком кидались в расположенной рядом песочнице. И вот на обычной скамейке, за этим таким реальным и осязаемым столом сидело существо, произносило слова на человеческом языке, но при этом не то и в самом деле было крокодилом, не то человеком, как-то превратившимся в крокодила (но кому это надо?), не то в маске, личине крокодила, которая срслась с человеком (нечто подобное Лева читал в современной западной литературе), но во всяком случае существо это сидело как посланец не из Левиного мира, из другого, чуялось в нем что-то ужасное, запредельное. Хулиган — это тоже наследие далеких, диких предков, идет из джунглей, от хищных пралюдей, поедавших друг друга. Но это хоть знакомо, поэтому от них можно убежать, не столь силен запах нечеловеческого. А от этого существа веяло холодом даже додикарского периода, периода каких-нибудь и в самом деле динозавров, ихтиозавров, или, как он сам сказал, архозавров. Как он вылез? Он или оно? Как правильно? Да не важно это. Важно другое. Откуда? Кто его разбудил? Уж не он ли, Лева?.. Говорил же Гриша, что заигрывание с темными силами ведет к сдвигу геологических пластов. Треснула земля, появилась щель, и оно вылезло... Или чавкнуло болото, и оно оттуда появилось... И Главный, и Чухлов — они в конечном счете не страшны. Крокодил же... Не знаменует ли его появление

решающую перемену элементов в его калейдоскопе?..

— А ведь представь себе, — засмеялся утробно субъект, не раскрывая пасти, — что не трудно догадаться, о чем ты сейчас думаешь. Ты роман Сартра «Слова» читал? Его, кажется, переводили. В нем герой вспоминает поразившую его в детстве гравю-уру-у: из пру-уда высовывается мерзкая клешня, хватает пьяницу-у и волочет его к себе. А под гравю-урой подпись: «Галлю-уцинация ли это алкоголика? Или то приоткрылся ад?» Ну ты чего? чего? — Он протянул свою переднюю конечность через стол, похлопал Леву по плечу, потом немного сжал плечо, так что когти слегка вонзились в тело, но не сильно. — Ну-у, у-успокойся. Ладно? Ты чего так разнервничался? — Он отпустил Левино плечо. — Надо бы нам выпить, размягчиться, по-ду-ушам погу-утарить. Ну-у, ладно, ладно. Сегодня я тебя утру-уждать не буду, да и вроде сыт я. Я к тебе завтра зайду-у. Посидим, выпьем, заку-усим.

— Чем? — почему-то вдруг с испугом выдохнул Лева.

— Кто чем... Кто чем...

И тут субъект распахнул пасть, словно засмеялся, и сразу же захлопнул ее. Лязг зубов такой раздался, что Лева вдруг почувствовал, как спала с него скованность. Он вскочил, в секунду выдрался из-за стола, побежал, придерживая под мышкой портфель, упал, вскочил, снова кинулся бежать, зацепился ногой за трубу ограды, растянулся, собрался, как червяк, поднялся на колени, опираясь на кулаки, и побежал

на четвереньках, прямо перед подъездом распрямился и нырнул в подъезд головой вперед. Сердце его колотилось, ключ, разумеется, никак не попадал в замок, толстые бока тряслись, рубашка на животе вывалилась из-под ремня брюк, но наконец он дверь отпер, обдирая пальцы, так что они даже закровоточили, ввалился в переднюю и захлопнул за собой дверь. Но за дверью, судя по тишине в подъезде, никого и не было.

Из комнаты справа, сразу при входе, раздавался капризный писк пятилетнего Оси: «Не хочу спать. Не буду. Не хочу спать! Не буду!» Значит, днем на очередную проверку своей комнаты приехала с внуком Ванда Габриэловна Картезиева и решила сегодня переночевать. В комнате напротив входной двери, как всегда, ссорились супруги Хайретдиновы, Иван да Марья. Из-за чего у них бывали ссоры, Лева за малостью времени проживания в квартире еще не разобрался: Иван вроде бы пил не больше других, а Марья сразу после работы бежала в магазин и мужиков в дом вроде бы не водила. Но ссоры бывали постоянно, как только они сходились вместе на своих одиннадцати метрах. Затем Марья вытаскивала свою постель в ванну и там на всю ночь запиралась. Была она художавая, смуглая, темноглазая, вид имела независимый. Иван, с узкими глазками, плешивой башкой, длинной шеей, но в остальном сбитый крепко, жилисто и мускулисто, вроде бы был нравом послабее жены, во многом ей подчинялся, а потому, проявляя мужскую самостоятельность, временами бил Марью. Из комнаты

их раздавалось бурчанье, хлопки, удары, потом раздавался Марьян крик: «Животное!» Это довольно-таки интеллигентное слово в устах не очень интеллигентной женщины удивляло и умиляло Леву.

Лева прокрался мимо их ссорящейся комнаты в свою, опасаясь одного, как бы кто из них не выскочил в азарте ссоры на лестничную площадку, оставив дверь открытой. Лева запер за собой дверь комнаты, благословляя трусоватых хозяев, установивших в свое время чугунную решетку на окне. Прислушался. Тишина, если не считать крика Марьи из-за стенки: «Животное!» — и тяжелого, глухого удара по мягкому телу. И бурчанья.

Мысли в голове крутились самые тусклые. Вспомнил о теории калейдоскопа, о том, что, конечно, сил у него сегодня ее разрабатывать не хватит, да и вообще какая-то это чушь, даже думать про нее стыдно. Надо бы просто лечь поспать, утром похмелиться — для тонуса, потому что хмель-то почти весь выветрился и голова вряд ли болеть будет. Хорошо бы сейчас рюмашку принять. Он снял плащ, принялся вешать его в стенной шкаф и увидел, что из-за груды грязного белья высовывается полная бутылка лимонной, «с винтом», причем ноль восемь. Он сообразил, что это — даяние позавчерашнего автора, про которое он сегодня утром с похмелья и не вспомнил и промучился, как дурак, до пивной. «Вот завтра рюмашку отсюда отопью, — думал Лева, — завинчу и назад поставлю. Это будет моя лечебная бутылка». Он думал о чем угодно, только не о крокодиле. Ему

казалось (подсознательно он это чувствовал, не выводя наружу), что стоит ему о крокодиле подумать, как тот тут же явится. И он прилагал все усилия, чтобы этого избежать.

Лева лег, не раздеваясь, на кушетку. Укрылся пледом. Хотелось заснуть, чтоб вернее ни о чем не думать. Он уткнулся головой в подушку, очки больно нажали ему на переносицу, он снял их, положил рядом на стул, поразившись, как за время бега и падений они не шелохнулись у него на носу, и снова закрыл глаза. Ему представилось его темное зарешеченное окно, потом это окно закрыл какой-то поднос, прямоугольный сверху и нежно-округлый снизу, чем-то напоминающий женский торс, но еды на этом подносе не было, да и сам поднос вскоре превратился и вправду в женский торс с крупными широкими бедрами, пушистым густым лобком, тело было нежное, девичье, такой когда-то вообразил себе Лева свою будущую «первую любовь», идеально прекрасную, идеально добрую, так и не встреченную, но так долгожданную, вот и лицо ее над торсом проступило, глаза полуприкрыты, розовые губы плотно сжаты. Лева потянулся было к ней, но она исчезла, вместо нее появилась черная чернота, глубокая, как космическое пространство, она-то и стала засасывать Леву в себя. На него нахлынул весь выпитый за день алкоголь, голова закружилась, и он отрубился.

Но ненадолго. Звонок разбудил его, звонок в дверь. Он проснулся в тревоге, но, услышав какой-то разговор в коридоре, вполне миролюбивый, успокоился и начал снова задремывать.

Неожиданно он услышал свое имя. Он постарался прислушаться, не в силах выбраться из цепящей дремы. Но стук в дверь его комнаты заставил Леву спустить ноги на пол и тем самым окончательно проснуться.

— Левка! — слегка гортанным голосом звал его Иван. — К тебе тут.

— Кто?

— Приятель твой тебя спрашивает. «Сашка? Кирхов? Кто еще помнит, где он теперь живет? Скоков? Может, кто из старых?.. Мишка Ведрин? Этот может заявиться и за полночь. Или Гриша? Нет. Гриша не знает и даже не спросил моего нового адреса. Небось думает, что у себя на хате Левка то и делает, что пьет. Эх! А может, Верка приехала звать домой. Хотя вряд ли в таком положении она вечером куда поедет. Инга? Тем более вряд ли. Хорошо бы это был Гриша», — думал Левка, отпирая дверь.

На пороге стоял высокий субъект с крокодильской мордой. Рядом маячил Иван, красная опухшая физиономия которого не очень-то отличалась от морды пришельца.

— Левк, — говорил Иван. — Ты извини, если разбудил. Но человек, приятель твой, дело предлагает. Говорит, у тебя бутылка есть, и нас за компанию зовет. Марья счас картошки жарит.

— Да вот решил зайти посидеть, — мычаще гудосил субъект. — Ду-умаю-у, дай-кась выпьем. А то си-жу-у и чувству-ую, что часа не прошло, а ты меня у-уже забыл.

Лева ухватился за дверной косяк, предобморочное состояние посетил его, в глазах пляса-

ли зеленые крокодилы и проскакивали какие-то искорки, все это кружилось, как в калейдоскопе, только много быстрее. И диалог последовал быстрый, как в скетче.

— У меня нет, — твердо, насколько сил хватило, сказал он.

— Чего нет? — недоуменно спросил зеленоватый незнакомец.

— Неужто бутылки нет? — спросил Иван.

— Нет, — повторил Лева.

— В заначке не держишь? — удивился субъект.

— Да разве я похож на человека, который бутылку в заначке держит? — настаивал на своем Лева, боясь, но надеясь, что не полезут они в его комнату рыться среди вещей.

— Это да, — сказал зеленоватый субъект, — может, ты у-уже ее и выпил. Спорить не буду-уду. Что ж делать?

— Я могу друзьям позвонить. Из автомата. Они привезут, — вызвался Лева.

«Только скорее и подальше отсюда. До метро бы добраться. Или хоть до трамвая. Как голова кружится, Неужели Иван этого кошмарного гнилого запаха не ощущает? Или это я с ума сошел и вижу то, что другие не видят?..»

— Ну-у пойдем, — тянул его за руку субъект. — Я тебя провожу-у.

Лева обмер. А Иван сказал:

— Значит, мы вас ждем с победой. Я спать не ложусь. Скажу пока Марье, чтоб картошки начистила. Если что, утром съедем.

Лева шагнул к себе в комнату, но пришелец остановил его:

— Не волну-йся. Дву-ушки у-у меня есть. Хватит.

Они были уже у дверей, когда на коридорный шум и разговоры открыла дверь Ванда Габриэловна Картезијева, пожилая седовласая дама в чепце. Из-под ее руки вывинтился ее внук Ося и, увидев незнакомца, слабо пискнул. Тот стоял высокий, под самый потолок, слегка даже сутулясь, чтоб не удариться крокодильской своей башкой. Ося поглядел на него снизу вверх, потом сделал шаг и спросил:

— А ты настоящий?

Вместо ответа субъект засмеялся, не открывая пасти, и так же с закрытой пастью промычал:

— Мы скоро бу-удем.

Он взял Леву под руку и легко вывел из квартиры. Дверь за ними захлопнулась. Они вышли из дома и пошли к телефонам-автоматам.

Глава VIII

КОНЕЦ

Пустые, механические мысли вились, как змейки или ящерицы, в мозгу у Левы. Будто думает их кто другой, а к Леве они поступают как внешняя информация. «Той же дорогой будем идти. Опять через выбоины и колдобины. Опять спотыкаться. Нет, *этот* так под руку держит, словно несет. Не споткнешься. И не убежишь. Если б одного из дома выпустил, тогда можно было бы не вернуться. А *рядом* ноги слабеют, рядом с *этим*. Прямо парализованным себя чувствуешь. Радиус его действия — метров десять».

Из окна братьев Лохнесских по-прежнему доносилась музыка, приклатненный мужской голос с теми же интонациями пел ту же песню о душе дурного общества:

*С тех пор заглохло мое творчество,
Я стал скучающий субъект.
Зачем же быть душою общества,
Когда души в ём вовсе не-ет?!*

«Значит, это магнитофон, а не живая гитара», думал Лева.

Телефоны-автоматы стояли сразу за пустырем, около серого дома с кулинарией и ателье.

Они были освещены изнутри. Лева машинально посмотрел на часы. Начало двенадцатого. Прошло всего около часа, как сошел он с трамвая. Этот мой жест, думал Лева, можно ведь истолковать как желание узнать, не поздно ли звонить друзьям. Он словно подыскивал оправдание себе, если существо начнет его *допрашивать*.

— Звони. Я тебя на у-улице обожду-у. Воздухом пока подышу-у.

Лева бросил взгляд по сторонам. На улице никого не было. Он вошел в будку телефона-автомата и закрыл за собой тяжелую дверь. И ему показалось, что он на время огражден и защищен и может сейчас срочно, как герой приключенческого фильма, послать в эфир «SOS». «Только кому?» «Пусть хоть кто придет. Кто сломит это странное состояние нормальности происходящего, которое ненормально, Иван даже не удивился внешнему облику пришельца. Не удивился тому, что в дом запросто на двух ногах, одетый в цивильное платье, зашел крокодил, — так впервые Лева для себя твердо назвал мычащего незнакомца. — А ведь это бред. Если бы я был один, то ясно было бы, что у меня белая горячка. Но их много, соседей, и все спокойны, будто так и должно быть. Ха-ха. Жил да был крокодил, он по улицам ходил, папиросы курил, по-турецки говорил!.. Фу! Не по-турецки, по-русски! Кто поймет, что я в опасности? — Лева снял трубку, услышал далекий гудок. Телефон жил своей жизнью, и его жизнь могла спасти Левину. — Все-таки изменился мой калейдоскоп. Надо позвать, а кого? Не схо-

дим ли с ума мы в смене пестрой придуманных пространств, времен, имен?.. Имен!.. Когда-то Инга по первому звуку бросилась бы его выручать. Но после всего, что было, ей звонить?.. И что сказать?.. А Верка?.. Куда ей тащиться, беременной! Гриша? Саша? Кирхов? Где мои друзья?! Гешке-переплетчику позвонить, с кем вчера нарезался? Так у него в Реутово телефона нет. Он бы приехал. Не звонить же *престижным* приятелям, тем, про кого лестно сказать, что он твой приятель, но кто никогда не придет на выручку. Они с места своего удобного никогда не сдвинутся. Итак: Верка? Инга? Гриша? Саша Паладин? Получалось, что звонить некуда и некому. Никто не придет по первому слову, а объяснить *такое* невозможно. Все-таки Верке, Верунчику, Ве-ке, маленькой моей, позвонить, сказать последнее «прости», в подол поплакать...».

И он набрал Веркин телефон. Подошла теща, почти Левкина ровесница, Левку не любившая, всегда пользовавшаяся случаем поговорить с ним сухо и неприязненно в Веркино отсутствие.

— Веры нет дома.

— Где она?

— В гостях. У соседей.

Бац — трубка положена. Даже не сказала, когда придет Верка. Не любила она Левку. За то, что не заботился *как надо* о Верке, не создал *настоящую* семью, пил. Она будет только рада, если Лева исчезнет с Веркиного горизонта. Ах так!.. И он тут же набрал номер телефона Инги.

— Ингуша! Дорогая. Как живешь?
— Твоими молитвами.
— Не надо так сухо, Инга!
— А как надо?
— Инга, мне плохо, мне страшно!
— Уверю тебя, мне тоже нехорошо.
— Инга, у меня беда. Меня преследуют...
— Опять пьян.
— Ты что?! Ни капли!..
— Что ж, я тебя не знаю, что ли? По голосу слышу, что пил. Вот с кем пил, тому и жалуйся.
— Да ни с кем я не пил. Мне просто страшно.
— Еще бы! От такого пьянства можно и до белой горячки допить! Зеленые чертики еще не мерещатся?
— Мерещатся.
— Что с тобой, Левка? Ну приезжай ко мне.
— Не могу, Веру... то есть Ингуша. Приезжай ты.

Молчание. Затем ледяным тоном:

— Ты, видно, совсем обалдел.

Бац — и эта трубка на рычаг положена. Лева глянул из окна телефонной будки на улицу. Крокодил похаживал взад-вперед перед будкой, из пасти торчала сигара. Грише. Гришеньке позвонить. Он умный, добрый, поймет.

— Гришенька, родной, здравствуй. Это опять я. Ты давно дома?

— Давно. Мы вскоре после тебя уехали. Там скандал разразился.

— Что такое? — Надо спрашивать, если сам ищешь сочувствия.

— Ты Витю ведь запомнил, если не очень пьян был?.. Ну, старшего брата покойного Анд-

рейки. Он вдове, ну, этой, Людмиле, ее почему-то мой Борис все Джамблью именует, короче, Витя этой вдове съездил по физиономии...

— И за дело, — не утерпел Лева, вспомнив эту болотную не то ящерицу, не то змейку.

— Ты тоже так считаешь? А за нее вступился парень, красавец, блондин такой белозубый. Еле их растащили. Ну и все стали разбредаться потихоньку.

— Ч-чушь какая-то, — тяжело сказал Лева. — Драка на поминках. Такое только на свадьбах бывает. Какого хрена мы в этой меццанской семейке сидели!.. Лучше бы посидели вдвоем, на бутылку бы у меня нашлось! Посидели бы, прошлое вспомнили. Какого хрена, в самом деле! Я мимо тебя сегодня опять часов в десять ехал. Как в трамвай на Савеловском сядил, то думал сойти, думал — судьба ведет снова к старому другу. Ведь, наверно, это судьба, что так близко от тебя я теперь живу — на Войковской. Я только сегодня это понял. Какой я был скот, Гришенька, не соображал так долго, что близко от тебя теперь живу. Понимаешь? Ведь старая дружба — это надежнее всего. И какого хрена мы к этим меццанам на поминки поехали?..

— Лео, нехорошо так, человек умер...

— А я? Я, может, тоже скоро помру, даже скорей, чем ты думаешь! Думаешь, я во внимании не нуждаюсь? Потом тоже, небось, Левку пожалеете! А посидеть с Левкой?..

— Левка, дорогой, ты о чем? Мы же сегодня виделись. Давай завтра встретимся, если хо-

чешь, посидим... А сейчас, перед сном, хочешь еще немножко почитать.

— Завтра, завтра, завтра!.. Хорошо вам, книжным гелертерам, в своих кабинетах. Я и не рассчитывал, что ты поймешь. Простой мужик, с которым я час назад коньяк пил, и то со мной сидел, дал мне выговориться. Ну, приезжай ко мне, Гришенька, а? У меня бутылка есть в записке. Посидим, выпьем, по душам поговорим, завьем наше горе-злочастье веревочкой. Может, тогда это зеленое чудовище от меня отвяжется...

Он глянул в окно. Крокодил по-прежнему шагом часового или охранника прогуливался перед дверью телефонной будки. А Гриша, видно, не так, как Лева хотел, понял слова о зеленом чудовище.

— Шел бы ты лучше спать, Левка, — сказал он. — Утро вечера мудренее. И лучший способ избавиться от зеленого чудовища, на мой взгляд, это больше к нему не прикасаться. Зеленый змий твердости боится. Разбей сам свою бутылку и скажи: начинаю новую жизнь, — и все будет в порядке, — но в Гришином голосе, прохрипевшем тоном дружеского увещания, эти прописные истины, не было уверенности.

— Если пойду спать, то, боюсь, усну насовсем. И ты тогда пожалеешь о плохом ко мне отношении.

— Слушай, хватит. Нехорошо спекулировать таким образом. Я к тебе не поеду. Поищи другого собутыльника. А лучше иди спать.

— Ну и черт со мной! Пропадай Левка!

И Лева сам резко повесил трубку на рычаг. Выходить из будки к крокодилу ему не хотелось. Да и смущало почему-то, как он будет оправдываться, что бутылки не достал. Он-то думал, что кто-нибудь придет. Лева ему тихонько свою бутылку передаст, как будто приехавший привез, и порядок. А признаться, что он обманул крокодила и Ивана насчет записки, казалось неловким, некрасивым, неудобным, постыдным, наконец. Что же делать? Ничего другого — звонить дальше. И конечно же, конечно же Саше Паладину. Кому же, как не тому, кто всегда не прочь выпить.

Трубку снял Кирхов.

— Лео? Х-хе. Поздно ты сообразил. Все уже выпито. Эй! — крикнул он в сторону от трубки. — Да ты не жадничай! — И пояснил Лева: — Это Скоков. Услышал, что ты звонишь, и впопыхах хлопнул последнюю рюмку. Да ты не волнуйся, Помадов далеко и твою рюмку не отберет. А ты, Левка, чего звонишь? Если есть лишняя бутылка, то бери мотор и гони сюда. Мы, по моему, всё выпили, что могли. Вон Шукуров, х-хе, как и положено хранителю традиций, даже не выпил. Он весь выжрал. Ну, что там у тебя? Ты чего звонишь? Если бутылка есть, давай сюда, а если нет, то пошел на хрен! — Тон Кирхова был резким, слова отрывисты, как всегда бывало, когда он напивался. — Ладно. Все. Все. Надел. На вон Сашку, с ним говори.

Трубку взял Саша Паладин. Он тоже был пьян, но благожелателен.

— Здравствуй, Лео. Чего звонишь? Кирхов тебе диспозицию правильно нарисовал. Шуку-

ров пьян, как свинья. Скоков... Скоков, отстань. Слушай, я не могу его остановить. Сейчас с тобой...

Он не договорил, трубку у него вырвал Скоков:

— Лео? Слушай, Лео, — спяну Вася Скоков становился агрессивен и настойчив. — Если ты сейчас не приедешь, то все, мы тебя вычеркиваем из нас. Ты тогда будешь не гусар, а улан. Понял? Не гусар, а улан. Так что приезжай, ждем.

Лева услышал вдалеке от мембраны смех Кирхова и голос Саши, шум борьбы:

— Ладно, Скоков, уймись. Отдай трубку.

— Не гусар, а улан! — еще раз выкрикнул Скоков, и трубка снова оказалась в Сашиных руках, и он сказал:

— Ну, еле отобрал. Так ты чего, Лео, звонишь?

Лева не произнес почти ни слова, но уже знал все, что произошло сегодня с ребятами (стекляшка, походы в магазин, затем нежелание расставаться после закрытия кафе, и вот собрались, как всегда, у Саши), и их огневое, рыцарское, как ему казалось, вольное веселье захватило его, как всегда. Конечно, вот они — рыцари, вольные казаки, никаких нежностей, сантиментов. И крокодил не так уже страшен. Да и не бред ли все это, когда рядом царит веселье.

— Чувствую, хорошо посидели! — воскликнул Лева, хихикая и включаясь в их тональность.

— Неплохо.

— А кто был?

— Да все те же. Все здорово пьяны, кроме Тимашева, который, как последняя сволочь, тискает Ольгу и никого к-к ней не п-подпускает. Но и он п-пьян.

— Вы в стекляшке были?

— И там б-были. Орешин заходил, Мишка Вёдрин на Морковкино приезжал. Тот в их сборник статью сдал и теперь Вёдрин вовсю катает.

— Ты что-то Морковкина недолюбливаешь.

— Точ-чно. Что-то я его, бля, недолюбливаю. Зато все остальные любят. Кого он облизывает. Короч-че, он не пил — за рулем! — а Вёдрин, как падал, взял два портвейна, но нам только стакан уделил. Вот т-ты как знаток лишних людей и русской интеллигенции скажи: почему это доктора наук все такие жлобы и никогда у них денег нет? Или лучше скажи: он лишний человек или нет. Мишка Вёдрин? Вот Кирхов считает, что лишний и никому на хрен не нужен. Ну, я думаю, он Морковкину пока нужен.

— А Вёдрин сейчас у тебя?

— Да нет, его к-куда-то Морковкин на своей машине повез. К каким-то своим кискам-пискам.

Издали, похоже, что с середины Сашиной комнаты, донесся в трубку пьяный вопль Скокова:

— У меня есть киска! А у киски писка!

— Слышал? — захохотал Саша.

— Слушай! Приезжайте все сейчас ко мне!

Вот она, лучшая защита от крокодила, — веселая компания, будь этот крокодил реально-

стью или только «плодом разгоряченного воображения».

— Нет, Левка, невозможно. Сил уже нет.

— Да тут вам от Рижского пятнадцать минут на такси.

— А какого черта нам у тебя делать? Ну, л-ладно, л-ладно, не обижайся, едем. Через пять минут мы у тебя.

Но Лева знал цену этому пьяному «едем» и «через пять минут». Наверняка никто и с места не собирается трогаться.

— Ну я в самом деле вас жду.

— Жди. Конечно, жди.

— Я серьезно.

— И я серьезно. Как только Тимашев кончит тискать Ольгу, мы все поедem к тебе. Точно.

— Ну, тогда это не скоро, хорошо, если на следующее утро, — гнусенько захихикал Лева.

— А выпить у тебя найдется? — вдруг спросил с надеждой Саша.

— Еще бы! Черт! Самое-то главное и не сказал. У меня бутылка лимонной ноль восемь.

— Тогда едем! — с энтузиазмом произнес Саша. — Эй, поднимайтесь! Ну, живо! Леопольд Федорович нам ставит! Эй, Лео, только нам придется на крокодиле ехать, а пока его поймашь...

— На каком крокодиле? — похолодел Лева.

— Такси ш-шестиместное так называется. Т-ты, Лео, на своем вчерашнем видении совсем свихнулся.

— Сука! Значит, мы едем, — это уже голос Кирхова. — А чем ты гарантируешь, что у тебя есть что выпить?

— Клянусь. Точно. Одна бутылка.

— Конечно, из-за одной бутылки тащиться к такому засранцу, как ты, да еще с оравой идиотов, довольно глупо. Впрочем, хрен с тобой. Ладно, все. Едем. Мне все равно еще один визит нужно в районе Сокола совершить. Там день рожденья один. До утра тарарам будет. Слушай, Сашк, — это он не Лева говорил, а в сторону, — на хрена нам тащить с собой этот погребальный обоз. Шукуров все равно спит. Будить его бессмысленно. Скоков давно уже не гусар, а улан. Ладно, ладно, пускай гусар. Все равно тебе ехать ни к чему. Да и одной бутылки на всех все равно мало. Тимашев вон и не собирается никуда отсюда. Я б на его месте тоже остался. Все. Решено. Едем одни. На трубку, точный адрес возьми.

Трубка снова в руках у Саши.

— Давай, Лео, диктуй.

Лева продиктовал адрес и добавил:

— Только тут такая ситуация. Я вот тебя попрошу. Когда приедете, сказать, что это вы бутылку с собой привезли.

— Так у тебя что, нет бутылки?

— Тогда на хрен он нам нужен, — раздался издали рев Кирхова.

— Да есть, есть, — заторопился Лева. — Ноль восемь, как я и говорил. Только я ее тебе передам, а ты скажешь, что это ты ее привез. Я сказал, что у меня нет. А потом получилось, что пришлось ставить, ну и в таком вот духе...

— Так ты не один? А кто там у тебя? Чего? Чего? Наш великий протестант-инакомысл Кир-

хов говорит, что, если у тебя там компания, он не поедет.

Лева испугался. Крокодил продолжал ходить вокруг телефонной будки. Ухо у Левы онемело и даже распухло от долгого разговора, но нежелание друзей ехать надо переломить.

— Скажи Кирхову, что если он настоящий писатель, то ему будет интересно... Живого крокодила увидит...

— К-ко-го? Кого-кого?

— Крокодила.

— Ты что, опять бредишь? — И в сторону от трубки, Кирхову: — Говорит, что мы у него крокодила увидим.

— Опять «помадовщина» начинается! Со всем с ума сошел от пьянства, — раздался в ответ голос Кирхова. — Ну что? Может, не ехать? Ладно, черт с ним. Едем.

— Едем, — повторил Саша.

И повесил трубку. Все. Звонить больше никому не нужно было. Двух таких мужиков достаточно, чтоб любую нечисть прогнать. Саша — бывший мастер спорта по боксу, а Кирхов просто здоровый мужик. Лева приоткрыл дверь. Свежий воздух летней ночи показался ему буквально райским после спертого, мефитического запаха телефонной кабины.

«И все же этого не может быть, — думал Лева. — Прав Саша, прав Кирхов. Этого просто не может быть. Я грежу. Наверно, спяну этот бред у меня материализовался — для меня, разумеется. Так сказать, оплотнел. Правильно, что ни Инга, ни Гриша не приехали. В конце концов, ведь я материалист. Его просто нет. Нет, и все.

Потому что не может быть. Они бы приехали, не нашли крокодила и решили бы, что я и в самом деле допился до сумасшествия. Нет, надо с ребятами сейчас жахнуть, и все к черту пройдет».

Чего-то явно не хватало. В пространстве словно образовалась какая-то пустота. Лева растерянно огляделся. Крокодила нигде не было. Лева даже за угол дома заглянул. Там тоже никого. Ушел?!.. Или вообще не существовал?.. И, быть может, правильно Кирхов обругал его?.. И все это был пьяный фантазм?.. Побольше реализма, тогда не будет мерещиться черт знает что! Как говорил Декарт: я мыслю, следовательно существую. Стало быть, если он, Лева, не мыслит крокодила, тот и не существует. Лева облегченно вздохнул и потер рукой лоб. «Пойти позвонить ребятам, что сам к ним еду...» Он взялся за дверь телефонной будки, приоткрыл ее. Дорога к метро была свободна. Да, он наконец свободен!.. «Хотя куда спешить?.. Дома бутылка, да и ребята скоро приедут». И Лева, довольный и успокоившийся, заковылял неторопливо по дороге, через колдобины и выбоины, мимо пятиэтажек в стиле «баракко», вдоль пустыря, мимо одноэтажного домика с электрической лампочкой над железной дверью... Но только миновал он этот домик, как от задней его стенки, из густой черноты, выдвинулась долговязая, громоздкая фигура и буквально в два шага нагнала его. Крокодил!..

Лева закрыл глаза. Потом открыл. Крокодил остановился. Более того, он даже приблизился к Лева и спросил:

— Ну-у что, наговорился? Бу-удет бу-уылка?

— Будет, — потухшим голосом ответил Лева.

— Ну-у и хорошо. Я у-уж ду-умаю, пу-усть наговорится напоследок. Дру-зей соберет.

— Почему *напоследок*? — И опять все внутренности у Левы ухнули куда-то вниз, а в горле ком застрял.

— Почему-у?.. Почему-у? — ворчливо пробормотал крокодил. — По кочану и по капусте, вот почему-у. Идем домой, нас жду-ут. Заждались, думаю. Когда твои дру-ужки приеду-ут?

— Минут через пятнадцать. Им от Рижского ехать. Пока такси поймают, вот время и пройдет, — искательно ответил Лева.

Они стояли под фонарем.

— Ну-у, подождем, дождемся. И ты тоже. Только дома. Может, и ты свою-у значку-у вытащишь, вскроешь ее, а? Сжалишься над соседом. Такой хороший му-ужик, симпатичный. До слез его прямо жаль, как и тебя, — утробно мычал крокодил (крокодил?), правой рукой утирая и вправду катившиеся из глаз по морде крупные слезы, а левой поддерживая Леву под локоть.

Они двинулись к дому. Вернее, двинулся крокодил, а Лева потащился рядом, увлекаемый его могучей лапой.

— Откуда ты взялся на мою голову?! — вскричал вдруг влекомый против воли Лева. — Почему ко мне ты явился? Почему?

— Могу-у ответить. Могу-у, — промычал субъект, немного замедляя шаг. — Есть такой анекдот. Два рыбака рыбу на червя ловили. У одного черви всегда хорошие, крупные, а у другого так себе. Но как-то раз первый признался, как крупных червей достает. «Я, говорит, беру

две батарейки от карманного фонарика, к ним проводки подсоединяю и проводки в землю закапываю зачищенными концами. Меж ними возникает напряжение, как между катодом и анодом, и червь наружу выползает, как раз тот, какой нужен». — «Спасибо», — говорит второй. Вот проходит день, и первый узнает, что его дружок, избитый, в больнице. Идет он его навестить. «Ну, спасибо, научил! — возмущается избитый. — Я, говорит, провод высокого напряжения оборвал и в землю воткнул. Сначала, правда, червь полез хороший, потом ящерицы, змеи и другие пресмыкающиеся, потом кроты, суслики и всякие подземные животные покрупнее, а потом пошли шахтеры, шахтеры, шахтеры. Вот они-то мне и накостыляли!».

— Не понял, — сказал Лева, — в чем здесь аналогия.

— Ну-у что ж, не понял так не понял, — равнодушно отозвался крокодил, продолжая неуклонно двигаться вперед.

«Мне все это снится», — сказал себе Лева. Так бывает, что сны более подробны, чем действительность, он у кого-то читал такое, и только явный алогизм ситуации говорит, что это сон. Беда, правда, в том, что во сне этого алогизма не замечаешь и понимаешь, что это алогизм был, только проснувшись. Так размышляя, Лева незаметно, и в самом деле почти как во сне, с помощью своего спутника, облегчавшего ему путь по колдобистой дороге, да еще в темноте, добрался до двухэтажного барачного домика, где он проживал. И тут Лева немножко приободрился. Все-таки люди сейчас появятся.

Только теперь он понял, что наедине с субъектом ему было страшнее, чем при людях. И из окон братьев Лохнеских по-прежнему звучала музыка, но теперь они там, видимо, допились до сентиментально-мужественного настроения, и репертуар несколько изменился. На сей раз, очевидно, был не магнитофон, а пластинка:

*Если радость на всех одна,
На всех и беда одна!..
В море встает за волной волна,
Как за стеной стена.*

Лева тоже знал эту песню, и она ему тоже нравилась.

*Здесь, у самой кромки бортов,
Друга прикроет друг.
Друг всегда уступить готов
Место в шлюпке и круг.*

И хотя Лева не очень представлял себе, что значит «кромка бортов», и никогда не попадал в морские кораблекрушения, да и вообще по морю не плавал, но суровая морская мужественность, казалось ему, звучала в этих словах, говоря о настоящих мужских отношениях.

*Друга не надо просить ни о чем,
С ним не страшна беда.
Друг — это третье твоё плечо,
Будет с тобой всегда...*

Лева знал эту пластинку. Ее очень любил Саша Паладин и часто, подвыпив, заводил. Он заводил ее, когда все уже были под кайфом, но еще до того, как опьянение доводило всех «до

разброда и шатания», как называл это Орешин. И все, как и Саша, проникшись его настроением и впадая в сентиментальную дружественность, сидели молча, пока игралась эта песня, воображая себя не то рыцарским дружеством, не то ремарковскими товарищами, готовыми друг за друга в огонь.

*Ну а случится, что друг влюблен,
А я на его пути.
Уйду с дороги, таков закон —
Третий должен уйти...*

Лева вздохнул и, дослушав песню, первым переступил порог. В дверях его встретил Иван.

— Ну? — спросил он ожидающе.

— Приедут сейчас, — ответил Лева.

— Привезут?

— Привезу-ут, привезу-ут. — ответил за Леву крокодил.

Из кухни доносились женские голоса и капризный голосок Оси. Пахло чем-то, жареным на сале, как обычно и готовила Мария.

— Пошли пока на кухню посидим, — сказал Иван. — Там Мария картошки с котлетами нажарила и даже бутылку из комода достала. Любит она у меня гостей, — пояснил он крокодилу, — особенно вежливых мужчин. От меня, от мужа, прятала, а гостям достает... Ишь, — повторил он снова, ухмыляясь, — от меня, от мужа, прятала, а гостям достала...

Крокодил скинул в прихожей плащ, оставшись в сером летнем костюме, и они прошли на кухню. За столом сидели Ванда Габриэловна и Ося. Окно на улице было открыто, в помещение

проникал теплый ночной воздух, унося запах жареной картошки и принося свежесть, аромат леса, к которому слегка примешивалась паровозная гарь. Мария, в летнем, легком, светло-зеленом платье, возилась у плиты. На столе стояли тарелки, рюмки, бутылка водки и миска со свежезаквашенной капустой.

— Я подумала и вспомнила, — указывая на миску с капустой, заметила важно Ванда Габриэловна, — что водку закусывают капустой в России. Надеюсь, Лева, вы не возражаете против капусты. Она полезна для печени и работы желудка. Перистальтика просто чудесно функционирует, когда утром ешь капусту.

— Спасибо, Ванда Габриэловна, — диким голосом сказал Лева.

Белый плафон под потолком ярко светился от сильной электрической лампочки, специально ввернутой вместо всегдашней тусклой. Плафон, как показалось Лева, был почему-то разрисован болотными лилиями. «Попробуй сорвать», — вспомнил он татуировку. Крокодила посадили рядом с Левой, и он выглядел совсем крокодильски в ярком электрическом освещении. Обмануться было невозможно. Почему же никто не удивляется? Сколько может тянуться этот бесконечный сон? «Может, мне не то мерещится, что крокодил пришел, а то, что пришедший человек, которого все нормально воспринимают, является крокодилом», — окончательно запутался Лева в своих умственных построениях. «Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью», — снова всплыла любимая шуточка Кирхова. «А может, вступить с крокодилом

в неформальные отношения? — мелькнула безумная надежда. — Ведь известно, что неформальные отношения ведут к взаимопониманию. Надо бы скорей выпить для этого».

— Вы не возражаете выпить? — обратился к ним Иван, потирая руки.

— Отню-удь, отню-удь, — сказала зеленое чудовище. — Ему-у так это очень бы было полезно, — указывая на Лева.

Мария разложила по тарелкам еду, Иван разлил по рюмкам водку. И они выпили, причем крокодил, чтоб никого не задеть своей длинной мордой, когда будет глотать, башку свою откинул глубоко назад и только тогда вылил в пасть рюмку водки.

— Будем здоровы, — сказала Мария и тоже выпила. А Ося закапризничал и закричал:

— Я тоже хочу!

Ванда Габриэловна сказала строго:

— Бери пример с бабушки. Она не пьет, а ест то, что полезно.

Но внучок не отставал:

— Дядя Лева! А давай ты мне считаешь!

— Ну вот! Сейчас он все бросит и пойдет тебе читать!.. — возмутился Иван.

Все принялись есть картошку с капустой. Потом Иван пихнул крокодила в плечо:

— Как тебя звать-то?

— Имя у меня сложное, непростое, вон как у Леопольда.

— А тебя что, Леопольдом разве зовут? — удивился Иван, взглядывая через плечо на Лева. — Вот бы никогда не сказал, думал, Левай.

— Лева — это сокращенно, — объяснил Лева.

— А, ну-ну. Это я понял. А тебя как же? — снова пристал он к крокодилу. — Чтобы, значит, знать, как обращаться.

— Давно имя мне дали, несовременное оно, — оправдывался крокодил. — Левиафан. Вот тебе и имя, правда, смешное? Но можно сокращенно просто Левою звать. Вон как его, — он опять кивнул на Леву.

— А ты крокодил? — вдруг спросил Ося. Сердце у Левы замерло. Сейчас все разъяснится. Вот он мальчик, как у Андерсена, увидевший, что король голый. Но Ванда Габриэловна оборвала внука:

— Неприлично влезать в разговор взрослых. Учись мыслить самостоятельно, чтобы достойно существовать.

И Иван добавил:

— Ты правда, Оська, помолчи пока. — И опять обратился к крокодилу: — Значит, так, издалека ты. Я это сразу понял. Вот и на Левку, когда первый раз поглядел, тоже сразу понял, что он малый с извилинами. Вот и моя зассыха сразу в тебе непростого почувствовала, ишь, принарядилась, бутылку от мужа прятала, а тут достала. Ну ты там у себя расскажи, что я свою так и зову: зассыха. Ладно, отстань, — отмахнулся он от Марии. — Так и скажи. А в остальном — мир, дружба. Вот почти и познакомились. Левка, он со мной своими переживаниями не делится, думает, не пойму. А я пойму. Я ведь ПТУ кончал в Оптиной.

— Это за Козельском? — охнул Лева.

— Ага, за Козельском. Там колодец такой, монахи говорили, что святой. Вода чистая, я сам видел. На тракториста я учился. Там девка была, я присмотрелся, на мордочку симпатичная. Я к ней. А дело зимой. Мы ходили в таких опушных валенках, до колена. У дома низ каменный, а верх деревянный. Мы наверх поднялись, я штанишки с нее уже стащил, а она как заорет. Понял? Под уголовку решила меня подвести за изнасилование. Я тогда валенок снял и по морде ей слева направо. Пусть знает, с кем дело имеет. Мужчина за себя постоять должен, меня так мать учила. Девка меня потом встретила: «Я тебя люблю». Я ей: «Сука! Люблю! А сама под уголовку подводишь». Я потом трактористом-мотористом стал. На целине был. Жизнь всякую повидал. Утром начинаешь борозду, конца-краю не видно, а на вечерней заре кончаешь. Такие там поля. Ты, Лева, запоминай. У вас небось такого ты не видал, — он хлопнул крокодила по плечу. — И вшей! Воротник отвернешь, а они ползут, крупные. Воды нет. Только болото рядом. Мы из него воду на чай брали. А от вшей болотной водой не отмоешься. Во двор выйдешь, разденешься, ведро под машину поставишь, солярки наберешь — и на себя. Тогда и спишь наконец спокойно. Недели две ничего, наверно, их запах отпугивал, а потом снова. Правда, платили хорошо. А человек должен знать, за что он работает. Ты как думаешь?

— Ду-умаю-у, ты прав. — ответил с улыбочкой крокодил.

— Ну вот. Только вначале было скверно. Выйдешь из кассы, в руках толстая пачка портянок, ну, сотенных, мы их портянками звали, а уж тебе в бок ножик уперт и шипит падла: «Одну портянку оставь себе на прокорм, а остальные тебе ни к чему. Если голодно станет, подкормим». Блатных там много было. И отдавали. Ну, блатным отдавали. Один отказался, так его зарезали. А потом приехал Артур Чередниченко, бригадиром к нам, у него у самого прошлое было, велел нам шланги нарезать с металлическими наконечниками и в рукав спрятать. Вот ты сейчас, когда меня услышишь, скажешь, что я эсэсовец, бандит, а я смиренный, мухи не обижу. Разве Марию под горячую руку приложу. И все. А так и в пивной никого не трону. А тогда только из кассы на улицу вышли, только к нам приставать стали насчет портянок, каждый шланг в руку схватил — и по голове, а она знаешь какая штуковина, от нее череп вдребезги.

— Насмерть? — изумился Лева. Это была та настоящая жизнь с драками за существование, с которой он не сталкивался, ибо драки за существование в его мире происходили не кулаками, а словами.

— Конечно, насмерть, — сказал Иван. — я же тебе говорю — череп от нее вдребезги. А Артур с главарем схватился, сначала яйца ему сапогом разбил, а затем головой об камень. И заметьте, следствия никакого не было. Покрутились, но мы все друг за друга горой, одно показывали, они и уехали несолоно хлебавши. Да и рады, наверно, были, что от блатных избавились. А с тех пор я смиренный, мухи не обижу, но

за товарища всегда встану. Понятно? Так Артур меня на всю жизнь выучил.

Он налил еще по рюмке, и они снова выпили. Бутылка пустела, а ребят все не было. Лева уже отчаиваться стал, Иван на него принялся посматривать с неодобрением, как на лгуна, но тут в дверь наконец позвонили.

— Я открою, — с облегчением вскочил Лева.

— Иди открой, — разрешил уже пьяный Иван, — а я пока с твоим тезкой погугарю. Очень он меня интересуется.

— Неужели? — гукнул со смехом крокодил. Затем встал и пошел за Левою в коридор. Но Лева и не думал убежать.

«Вот так и надо, — говорил он себе, идя к двери. — Так и надо. Надо уметь драться без пощады, чтоб себя защитить. Вот Гришин племянник Андрейка этого не сумел. Главное — понимать, что когда перед тобой беспощадный враг, то и ты должен бить без пощады. Как Иван. И девку валенком по физиономии — и это правильно. Это тоже способ разрешения межполовых конфликтов, да». Андрейка этого не сумел, и он, Лева, пожалуй, никогда не сумеет. Поэтому и ездят на нем бабы, всю жизнь ездят. Что Инга, что Верка... Запилили. А он им не обещал вовсе, что будет на себя не похож. Вот и сбежал.

Лева открыл дверь. На площадке стоял, покачиваясь, Саша, прижимая к груди полупустую бутылку.

— А где Кирхов? — невольно спросил Лева. Все-таки втайне он надеялся, что не меньше двух их приедет. Двое — это уже сила.

— Твой любимец Кирхов. — произнес Саша, стараясь твердо выговаривать слова, — оказался засранцем и сошел у Сокола. Мы купили у таксиста эт-ту бутылку, но, прежде чем сойти, Кирхов выжрал половину, сказав, что это его доля. У Помадова, говорит, еще есть. Может, он и прав. Не берусь судить. Ты как думаешь?

И увидев крокодила:

— Эт-то и есть твой новый приятель? — и, взмахнув рукой с бутылкой, объяснил себе и Лева: — Зелененький.

А крокодилу:

— Рад познакомиться.

Тот, не открывая пасти, ответил:

— Взаимно, — и, увидев, что дверь в квартиру уже захлопнута, вернулся на кухню.

Лева потащил Сашу к себе в комнату.

— Ты куда? — крикнул Иван.

— На секунду, — объяснил Лева.

В комнате он сразу пошел к стенному шкафу и вытащил бутылку. Саша задумчиво наблюдал его действия и говорил:

— Я т-только глоток отпил. За компанию. Остальное — Кирхов. Я, если друг сказал надо, значит, надо. Я у таксиста и купил. Д-думаю, не пропадет, пригодится. Ого! И вправду ноль во-семь. Я думал, что врешь, просто заманиваешь. А забавный у тебя этот богемный парень. Настоящий крокодил.

— Саша, — с всхлипом сказал Лева, — но он и есть крокодил.

— Ну, конечно, — иронически хрюкнул Саша, — и ты его пригласил к себе в дом посидеть

и выпить. Ладно, хватит мне мозги пудрить. Расскажи лучше диспозицию. Д-девушки есть?..

И тут, несмотря на страх и растерянность перед крокодилоподобным существом, какой-то рычажок переключился в Лева, и его понесло в молодцеватом хвастовстве:

— Есть. Смуглая такая, стройненькая, как ветка орешника. Жена моего соседа, Ивана. Только ты не моги, — добавил он, заметив, что Саша приосанился, и чувствуя, что Саша сейчас закадрит Марию, а ему обидно будет, что сам этого сделать не сумел.

— Почему это не моги?

— Место занято.

— Кем это?..

— Мною, Леопольдом Федоровичем, — самодовольно вдруг хихикнул Лева, и в самом деле испытывая самодовольство, будто не соврал, а Мария взаправду была его любовницей.

— Ох, Лео! Ох, Помадов! То-то ты все на Войковскую стремишься! Комнату здесь снял. Хитрован! Ну, мы еще посмотрим, чья возьмет. Нравственность, как говорил один мудрец, начинается выше пояса.

— Попробуй, попробуй, — продолжал самодовольно улыбаться Лева: ему льстило, что Саша поверил или сделал вид, что поверил в наличие у Левы молодой любовницы.

— Эй! Вы заснули там или умерли?! — гаркнул вдруг Иван.

— Да-да, — засуетился быстро Лева, точно на него учитель прикрикнул или плеткой стегнули. — Саш, держи бутылку. Только как бы так

сделать, чтобы подумали, что она у тебя с собой была?

— Да не расстраивайся ты так. Смотри, — и он быстро засунул толстую бутылку во внутренний карман пиджака. Пиджак оттопырился.

— Заметно, — сказал Лева.

— Что? Что у меня бутылка? Конечно, заметно.

— Но раньше ее тут не было.

— Это еще доказать надо. Они ж меня под лупой не рассматривали. Да и им-то всем не все ли равно. Твой богемистый приятель уже аж позеленел от водки. Пойдем. Все о'кей.

На кухне их ждали, потому что предыдущая бутылка была уже пуста. Лева иногда удивлялся, сколько в человека может влезть спиртного в течение дня. Удивлялся, но пил.

— Привет честной компании, — сказал Саша, ставя на стол полупустую бутылку, а затем из внутреннего кармана доставая бутылку лимонной ноль восемь и тоже выставляя ее на стол.

— У-у, — зарычал Иван, наваливаясь грудью на край стола и жадно хватая лимонную. — Понеслась! Хорошие у тебя друзья, Лева, хоть ты и Леопольд.

— Он уже хотел кричать: Леопольд, подлый трус, выходи, — застенчиво поглядывая на плечистого Сашу, несмотря на опьянение прямо сидевшего на стуле, сказала Мария. Сашина выправка всегда поражала Леву, и он относил ее за счет, так сказать, дворянского воспитания. Видно, что человека учили держаться в обществе.

— Ну не такой уж Лева у нас и трус, — заступился Саша Паладин. — Все же на статью самого Гамнюкова руку поднял. Правда, по просьбе Главного, за то ему Главный и выговор влепил.

— Как вlepил? Уже? — испугался Лева, на минуту забыв о крокодиле. — Ведь его же в редакции не было.

— Вернулся под вечер. А наш общий друг Чухлов Клим Данилович проектик приготовил. За ним ведь такое не заржавеет. И к Главному. А тот «проправил» и подписал.

— Вот сволочи! — совсем разволновался Лева. — Я им покажу!

— Видите! — воскликнул Саша. — Конечно, Лева у нас особенно опасен в состоянии «завязал». Но и так неплох. Идеологически вооружен и при задержании может оказать сопротивление.

— Как? как? Что ты сказал? Повтори, — рассмеялся вдруг крокодил.

Услышав его мычаще-лязгающий голос, Лева снова забыл и о Главном, и о Чухлове, и о выговоре. А Саша ответил:

— Сказал, что ты слышал, — не боялся он вовсе крокодила. — Давай лучше выпьем.

Все быстро выпили по одной, потом сразу по другой.

— А ты чего не закусываешь? — обратился Иван к крокодилу. — Ты трескай. Котлеты свежие, сам брал.

— Потом, — ответил крокодил. — Не хочу аппетит перебивать.

— Дядя Лева! — сказал неожиданно маленький Ося, возившийся в тарелке и не поднимавший глаз. — А тебя крокодил не любит.

— Почему? — опешил Лева, старавшийся хмелем заглушить сомнительную реплику крокодила насчет закуски и аппетита.

— Я знаю. Он тебя съест. Он сказал, что меня с бабушкой есть не будет, а Иван да Малья ему нлавятся. А пло тебя ничего не сказал. Значит, тебя съест.

— Железная логика, — ухмыльнулся Саша. — А может, меня? Ведь про меня он тоже ничего не сказал.

Все захохотали. Громче всех крокодил. От смеха из глаз у него даже слезы потекли двумя струйками. Ванда Габриэловна тоже смеялась, затем поправила чепец и, взяв Осю за руку, сказала:

— Ну все. Хватит. Скажи взрослым спокойной ночи и пойдем.

И, несмотря на Осины вопли, его увели. Выпили еще по одной. Уже Иван прикладывался щекой к столу, но тут же встряхивал головой, отгоняя хмель. Саша по-прежнему сидел прямо, а Марья все нежнее поглядывала на него. Все молчали, тяжело отдуваясь.

— Расскажу-у вам для веселья анекдот, чтоб не ску-учали, — нарушил молчанье крокодилоподобный субъект. — Про крокодила.

«Сам-то кто? Крокодил или нет?» — думал, преодолевая алкогольный дурман, Лева.

— Так вот. Слу-ушайте. Возвращается как-то какой-то человек домой. Ну-у, слегка подвыпил, как это у-у многих водится. А перед подъездом

его какая-то высокая фигура останавливает, пахнет от фигуры тиной, гниlostью — словом, болотом. И видит человек, что перед ним крокодил. И крокодил говорит человеку: «Я тебя съем». Ну-у, человек испу-угался, вырвался, бросился домой, заперся. А у-утром ко врачу-у пошел. Все ему-у рассказал. Врач посмотрел на него и говорит: «Голу-убчик, у-у вас галлюцинации. Вот попринимайте эти порошки. И крокодил перестанет вам являться». Человек ку-упил в аптеке порошки, принял один, принял дру-угой и понял, что явление крокодила было обыкновенным бредом. И у-уже ни от кого не вырывался. Вот проходит неделя, больной не является. А шизофрения — опасная вещь, врач испугался, как бы больной чего не натворил, и решил его навестить. Хороший был врач. Приходит по адресу. Спрашивает: «Здесь живет такой-то человек?» А соседи ему говорят: «Нет, не живет». — «Как же так? — интересуется врач. — У меня адрес записан». Соседи говорят: «У вас все правильно записано. Только он больше не живет. Его крокодил съел».

Все засмеялись, кроме Левы. А Саша сказал:

— У нас д-давно установилось анекдотическое мышление. Мы мыслим анекдотами, а не категориями разума. Анекдотами и разговариваем. Информации деловой и мыслительной друг другу не сообщаем. О чем это говорит? — спьяну Сашей овладевало иногда желание обличительно порассуждать. — Д-да, о чем это го-говорит? О том, что мы... Ч-черт, не знаю... Ну, что наше сознание подвержено анекдотической заразе. Это же не случайно, что мой друг Лео

вбил себе в голову, что его преследует крокодил. И не случайно, что его приятель так вырядился, — он кивнул на крокодила.

Крокодил громко, утробно и радостно засмеялся и игриво поддел Леву зубом около шеи. Он тоже был зверски пьян.

— Ты что?! — отпрянул от него Лева. — Больно!

— Ничего, — давился от смеха крокодил. — На зуб пробую.

Иван спал, раздвинув тарелки и уткнувшись лицом в стол. Саша спал тоже: с закрытыми глазами, покачиваясь, но прямой, как на параде. Мария, поглядев на них, пошла к себе в комнату, и Лева услышал, как она перетаскивает матрас в ванную. Лева пихнул Сашу в бок и, увидев, что тот открыл глаза, зашептал ему в самое ухо:

— Саша, спаси меня, спаси. Ты же рыцарь, сам говорил. Значит, можешь сразиться с чудовищем.

Саша пристально посмотрел на Леву, пока слова проскакивали в его извилины, видно, что с трудом. Наконец до него дошло.

— Все в порядке, старик. Полная спокуха. Все в порядке. Не вижу здесь чудовища, да и ты не девушка. Давай еще по одной.

— Давай, — горестно сказал Лева. «Вовсе он не рыцарь-паладин. Поладин, он со всеми поладит, со всеми в лад живет».

Они выпили, и наконец все поплыло у Левы перед глазами: стол, Иван, крокодил, Саша. Потом возникла откуда-то Мария и потащила за собой Ивана. Надо было лечь, но сдвинуться с

места не было сил. Потом кто-то толкнул Леву. Это была Мария. Она поднимала со стула Сашу. Одну его руку она закинула себе за шею, другая висела, болталась. Мария обнимала его за талию, и Саша шел за ней.

— Я этого вашего друга в ванную уложу, — сказала Мария Леве, заметив его взгляд. — А другого уж у себя пристраивайте.

Они с Сашей исчезли. А крокодил сказал:

— Ну-у ладно, пойдем.

Он подхватил Леву под локоть. Леве было почти все равно, кто его тащит, лишь бы скорее раздеться и в постель рухнуть. И все-таки обрывки мыслей еще мелькали у него в мозгу: «Пусть все это будет сон, пусть. Пусть бред. Завтра проснуться — и чтоб ничего этого не было. Все уже позади. Все сон, жизнь и та сон. Пусть...» Он почувствовал, что лежит уже на кушетке, а незнакомец (или незнакомка?) стаскивает с него пиджак, рубашку, башмаки, брюки. «Дорогая моя девочка, ложись рядом», — хотел прошептать Лева, но язык не слушался. Он куда-то проваливался, в черноту с искорками, где повсюду действовал закон калейдоскопа: перед глазами мелькали то пивная и Тимашев с Ольгой, то Мишка Вёдрин, хватающий его за руки, то молодая вдова в зеленом, то долговязая девушка в комбинации, бегающая от него вокруг стола, то упрекающий его Гриша и сердитая Аня, то рыдающая Инга, то всхлипывающая Верка, беременная, с опухшим лицом. Потом — и это было последним его сознательным ощущением — он увидел, как крокодил внимательно посмотрел на его голое, жирное, обмякшее

тело, вздохнул, разинул пасть, и Лева почувствовал с безумным ужасом и пронзительной болью в спине, в которую вонзились зубы, как головой вперед он ныряет в жаркую, смрадную утробу.

И все кончилось...

Утром Саша открыл дверь в Левину комнату и хрипло сказал:

— Друг мой Лео, не желаете ли со своим приятелем составить мне компанию сходить за пивом. Полечиться бы не мешало.

Но комната была пуста. Кровать была застелена, будто в ней никто и не спал. Хотя окно было открыто, в комнате все же чувствовался легкий гнилостный болотный запах.

— Ч-черт! Ранние пташки. — недоуменно и хрипло произнес Саша. — И не разбудили. Благодарно, если они, конечно, пиво сюда принесли. — И, обернувшись в коридор, спросил: — Марья, у вас пивная поблизости есть? Скорее всего, они там.

1986

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

Владимир Карлович Кантор – член Союза российских писателей, лауреат премии Генриха Бёлля (Германия, 1992), доктор философских наук, профессор, член редколлегии журнала «Вопросы философии», историк русской культуры, автор более трехсот опубликованных работ. Область научных интересов – философия русской истории и культуры.

Основные опубликованные сочинения ВЛАДИМИРА КАНТОРА

ПРОЗА

ДВА ДОМА. Повести. М.: Советский писатель, 1985.

КРОКОДИЛ. Роман // Нева. 1990, № 4.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. Повести и рассказы. М.: Советский писатель, 1990.

ПОБЕДИТЕЛЬ КРЫС. Роман-сказка. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1991.

ПОЕЗД «КЕЛЬН-МОСКВА». Повесть // Вопросы философии. 1995. № 7.

МУТНОЕ ВРЕМЯ. Из цикла «Сны» // Золотой век. 1995. № 7.

КРЕПОСТЬ. Роман (журнальный вариант) // Октябрь. 1996, №№ 6, 7.

ЧУР. Роман-сказка. М.: Московский Философский Фонд, 1998

СОСЕДИ. Повесть // Октябрь. 1998, № 10.

ДВА ДОМА И ОКРЕСТНОСТИ. Повесть и рассказы. М.: Московский Философский Фонд. 2000.

МОНОГРАФИИ

Русская эстетика второй половины XIX столетия и общественная борьба. М.: Искусство, 1978.

“Братья Карамазовы” Ф. Достоевского. М.: Художественная литература, 1983.

“Средь бурь гражданских и тревоги...” Борьба идей в русской литературе 40–70-х годов XIX века. М.: Художественная литература, 1988.

В поисках личности: опыт русской классики. М.: Московский философский фонд, 1994.

“...Есть европейская держава”. Россия: трудный путь к цивилизации. *Историософские очерки.* М.: РОССПЭН, 1997.

Феномен русского европейца. *Культур-философские очерки.* М.: Московский общественный научный фонд; ООО «Издательский центр научных и учебных программ», 1999.

Rusija je evropska zemlja. *Mukotrpan put ka civilizaciji.* Beograd. 2001.

Русский европеец как явление культуры (философско-исторический анализ). М.: РОССПЭН, 2001.

СБОРНИКИ

Русская эстетика и критика 40-50-х годов XIX века. Подготовка текста, составление, вступительная статья и примечания В.К.Кантора и А.Л.Освата. М.: Искусство, 1982.

А.И. Герцен. Эстетика. Критика. Проблемы культуры. Составление, вступительная

статья и комментарии В.К. Кантора. М.: Искусство, 1987.

К.Д. Кавелин. Наш умственный строй. Статья по философии русской истории и культуры. Составление, вступительная статья В.К. Кантора. Подготовка текста и примечания В.К. Кантора и О.Е. Майоровой. М.: Правда, 1989.

Метаморфозы артистизма. Составление, первая статья. М.: РИК, 1997.

Ф.А. Степун. Сочинения. Составление, вступительная статья, примечания и библиография В.К. Кантора. М.: РОССПЭН. 2000.

СОДЕРЖАНИЕ

Глава I	
Похмелье.....	5
Глава II	
Повесть о горе-злочасти.....	32
Глава III	
Самобичевание.....	61
Глава IV	
Душеспасительный разговор.....	90
Глава V	
Поминки.....	122
Глава VI	
Похабство.....	151
Глава VII	
Вечерний ужас.....	173
Глава VIII	
Конец.....	208
Сведения об авторе.....	235

Владимир Карлович КАНТОР

КРОКОДИЛ

Роман

Редактор *М.С. Киселева*

Портрет автора – художник *Максим Светланов*

Компьютерная верстка *Р.А. Сафина*

ЛР № 030358 от 08.09.1997

Формат 70×100/32

Бумага офсетная

Печать офсетная

Гарнитура «Arial»

Усл.п.л. 15

Тираж 1000 экз.

Московский Философский Фонд

119991 Москва, Мароновский пер., 26

Тел.: 230-79-56, 238-29-00

Отпечатано в ООО «Связь-Принт».

103473 Москва, 2-й Щемиловский пер., 4/5